

A movie poster for the film 'Mama, I'm Here' (Russian title: 'Мама, я здесь'). The central image is a young girl with light brown hair and blue eyes, looking directly at the camera with a tearful expression. She is holding onto vertical metal bars of a cage. A single strand of barbed wire runs horizontally across the frame, passing in front of her face. The background is dark and snowy, with several figures in blue tactical gear and helmets visible in the distance. The overall mood is somber and urgent.

ДЖОРДЖ БЕЛЛ

МАМА,
Я ЗДЕСЬ

Джордж Белл

Мама, я здесь

Данное произведение является художественным. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или умершими, а также с реальными событиями или обстоятельствами являются случайными.

Оглавление

Пролог

Глава 1: Стук в дверь

Глава 2: Стеклянная комната

Глава 3: Казенный дом

Глава 4: Стена из бумаги

Глава 5: Терапия души

Глава 6: Человек из телевизора

Глава 7: Желтые звезды

Глава 8: Диагноз — вера

Глава 9: Эксперты

Глава 10: Молчание мира

Глава 11: Сломанные куклы

Глава 12: Мама, я здесь

Пролог

Темнота всегда пахнет по-разному. Дома она пахла маминым кремом для рук и стиранным бельем, которое сохло на батарее. А здесь темнота пахнет мокрой штукатуркой и чужим супом. Кислым.

Я лежу и считаю трещины на потолке. Их не видно, но я знаю, что они там есть. Я выучила их наизусть, пока было светло. Одна похожа на реку, другая на дерево с обрубленными ветками. Если долго смотреть на дерево, начинает казаться, что оно растет. Но здесь ничего не растет. Здесь все только уменьшается.

Меня зовут... Раньше меня звали Настя. Теперь меня зовут «Петрова». Так написано на спинке кровати. И на полотенце. И на шкафчике. Петрова. Это не имя. Это номер. Как на машине.

Я хочу рассказать, как это случилось. Но слова застревают в горле, как сухие крошки. Взрослые говорят, что я молчу, потому что упрямая. Они говорят: «Это все влияние. Ее зомбировали». Я не знаю, что такое зомбировали. Я просто боюсь открыть рот. Боюсь, что если я заговорю, то из меня вылетит птица. Маленькая, перепуганная птица, которая жила у меня в груди, когда мама меня обнимала. Если я открою рот, она улетит, и я останусь совсем пустая. Как кувшин, который разбили, а потом склеили, но воду наливать уже нельзя.

Глава 1: Стук в дверь

Тишина в нашем доме всегда была особенной. Не пустой, как в подъезде, когда перегорает лампочка, а плотной, теплой. Она пахла маминым тестом для пирожков и папиным одеколоном с нотками хвои. В этой тишине жили наши секреты, наши молитвы и шелест страниц.

В тот вечер мы читали. Я сидела на ковре, поджав ноги, и раскрашивала леопарда. У леопарда были добрые глаза, и он лежал рядом с козленком. Папа читал вслух, его голос был низким и ровным, как гудение большого шмеля. Он

читал о том, что скоро не будет слез, не будет боли, и смерть исчезнет навсегда. Я верила, что «навсегда» это очень долго, но оно обязательно наступит завтра утром.

Часы на стене тикали: так-так, так-так. А потом мир раскололся.

Сначала был не стук. Стучат гости. Стучат соседи, когда у них кончилась соль. Это был удар такой силы, что стены вздрогнули, а с полки упала фарфоровая пастушка, которую мама берегла как зеницу ока. Голова пастушки откололась и покатилась к моим ногам. Я смотрела на нее и не могла пошевелиться.

— Открывайте! Полиция!

Голос был нечеловеческим. Он звучал так, будто кто-то кричал в железную бочку.

Папа вскочил. Книга осталась лежать на диване, открытая на обещании вечной жизни. Лицо у папы стало серым, как бумага. Он посмотрел на маму, потом на меня. В этом взгляде было что-то, чего я никогда раньше не видела. Это был страх, но не за себя. Так смотрят на птицу, которую вот-вот накроет тень ястреба.

— Настя, иди в свою комнату, — сказал он тихо. — Быстро.

Но я не успела.

Завизжала пила. Звук был высокий, сверлящий мозг, от него заболели зубы. В прихожей запахло паленым металлом и гарью. Дверь, наша надежная железная дверь, которую папа красил в коричневый цвет, начала выгибаться внутрь, словно была сделана из пластилина.

Я зажала уши руками и зажмурилась. Мне казалось, если я не буду видеть и слышать, они исчезнут. Это просто страшный сон. Сейчас мама разбудит меня в школу.

Грохот. Дверь рухнула на пол, подняв облако пыли.

В квартиру ворвалась чернота. Это были люди, но они не были похожи на людей. Черные шлемы, черные маски, черные бронежилеты. У них не было лиц, только прорези для глаз. И эти глаза были пустыми.

— Всем на пол! Работает спецназ! Лежать! Руки за голову!

Они кричали так громко, что воздух звенел. Их было много. Пять? Десять? Они заполнили нашу маленькую прихожую, их тяжелые ботинки топтали мамин

коврик с надписью «Welcome». Грязь с улицы, мокрый снег, песок все это теперь было у нас дома.

Один из черных людей подбежал к папе и ударил его прикладом автомата в спину. Папа охнул и упал на колени, потом лег лицом в пол.

— Не трогайте его! — закричала мама. — Он не сопротивляется! Что вы делаете?!

— Молчать! На пол, сука!

Меня схватили за плечо. Рука была жесткой, пальцы впились в кожу через тонкую ткань пижамы. Меня дернули так, что я чуть не упала.

— Ребенок! — крикнул кто-то из них. — Тут ребенок.

— Убрать в комнату. Пусть сидит и не вякает.

Меня втолкнули в детскую. Я споткнулась о порог и упала на кровать. Сердце билось где-то в горле, мешая дышать. Я слышала, как в зале кричит мама, слышала глухие удары. И лязг. Металлический щелчок. Наручники.

Я забилась в угол кровати, натянула одеяло до самого носа. В комнате горел ночник — желтая луна. Теперь эта луна казалась больной и тусклой.

Из воспоминаний соседки, Тамары Павловны (64 года):

«Я в глазок смотрела. Страшно было, жуть. Думала, террористов берут или наркоманов каких. Грохот стоял на весь подъезд. Они дверь им болгаркой срезали, искры летели во все стороны. А ведь у них звонок есть, могли бы позвонить... Но нет, им надо, чтоб страшно было. Чтоб все видели. Соседи эти, Петровы, тихие были. Всегда “здравствуйте”, “до свидания”. Девочка у них чистенькая, с косичками. Ну, ходили они с книжками, говорили про Бога. Мне тоже предлагали почитать. Я отказывалась, они не настаивали. Не пили, не курили, музыку по ночам не включали. А тут налетели... Автоматы, маски. Как на войне. Я видела, как Андрея выводили. Руки за спиной, голова опущена. А за ним эти... космонавты. И коробки тащили. Я тогда подумала: Господи, что ж они там хранили? Бомбы? А потом участковый сказал — литературу изъяли. Книжки, значит. За книжки теперь так двери ломают?»

Дверь в мою комнату распахнулась. Вошел человек. Он был без маски, в обычной куртке, но от него пахло так же, как от тех, черных холодом и табаком. У него были уставшие глаза и папка в руках.

Он не разулся. Прямо в ботинках прошел по моему пушистому ковру. На ковре остались серые следы. Я смотрела на эти следы и думала: «Мама расстроится. Мама так долго его чистила».

— Ну что, — сказал он, оглядываясь. — Где тут у нас экстремистские материалы?

Я не знала этого слова. «Экстремистские». Оно звучало колюче, как битое стекло.

Он подошел к моему столу. Там лежали мои рисунки, школьные тетради, Библия с картинками. Он начал сбрасывать все на пол. Просто сгребал рукой, как мусор.

— Дядя, не надо, — прошептала я. Голос был тонким, чужим. — Это мои уроки.

Он посмотрел на меня, но как будто сквозь.

— Уроки, говоришь? А это что?

Он поднял мой рисунок. Тот самый, с леопардом и козленком.

— Это Рай, — сказала я. — Там никто никого не кусает.

— Рай, — усмехнулся он. — Пропаганда утопических идей, подрыв основ конституционного строя. В папку.

Он смял рисунок и сунул его в прозрачный файл. Потом взял мою Библию. Она была старенькая, с потертой обложкой. Папа подарил мне ее, когда я научилась читать.

— Это вещдок, — сказал он и бросил книгу в черный пластиковый мешок, который держал другой мужчина.

— Отдайте! — я вскочила с кровати. Страх на секунду уступил место обиде. — Это моё! Папа подарил!

— Сидеть! — рявкнул мужчина. — Твой папа преступник. Он тебе мозги запудрил. Мы тебя спасаем, дура.

Спасаем. Они забрали всё. Мои открытки с цветами. Мой дневник, где я писала про кошку Мурку. Даже плюшевого медведя прощупали, оторвали ему лапу, искали что-то внутри. Из медведя посыпался синтепон, как белый снег.

Я сидела среди разбросанных вещей, среди обломков моего мира, и дрожала. Мне было холодно, хотя батареи были горячими. Холод шел изнутри.

Из зала доносились голоса. Чужие, грубые, насмешливые.

— Смотри, сколько макулатуры! И все запрещенное.

— А деньги? Деньги нашли?

— В конверте, в шкафу. Пиши: финансирование экстремистской деятельности.

Я знала про этот конверт. Папа откладывал деньги на новый холодильник. Наш старый гудел и плохо морозил. Мы копили полгода. Папа говорил: «Вот купим большой, белый, будем там мороженое хранить». Теперь это называлось «финансирование». Слова меняли смысл прямо на глазах. Холодильник превратился в преступление. Рисунок леопарда — в угрозу для страны.

Выдержка из протокола обыска (фрагмент): «...В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по адресу (...) были обнаружены и изъяты: 1. Печатные издания религиозного содержания, включенные в Федеральный список экстремистских материалов — 5 шт. 2. Электронные носители информации (флеш-карты, жесткие диски) — 3 шт. 3. Блокноты с рукописными записями, содержащими отчеты о проповеднической деятельности. 4. Детские рисунки, содержащие символику организации — 3 шт. 5. Денежные средства в размере 45 000 рублей...»

Потом меня вывели в коридор. Квартира была похожа на поле боя. Шкафы открыты, одежда валяется на полу, книги выпотрошены. Мама сидела на стуле в кухне. Она была бледная, волосы растрепаны. Рядом с ней стояла женщина в форме.

— Мама! — я рванулась к ней.

Женщина преградила мне путь рукой.

— Не положено. Стой здесь.

Мама подняла глаза. В них было столько боли, что мне захотелось закричать. Но она улыбнулась. Слабой, дрожащей улыбкой.

— Настенька, — сказала она тихо. — Не бойся. Иегова с нами. Помнишь про Даниила? Львы не тронули его.

— Заткнись! — крикнул следователь, который заполнял бумаги на кухонном столе. — Еще одно слово про своего бога, и я тебе статью добавлю за вовлечение несовершеннолетнего.

Папу я увидела только мельком. Его уже выводили. Он был в куртке, наброшенной на одно плечо, руки скованы сзади. Он шел, низко опустив голову, но когда проходил мимо меня, поднял глаза.

— Дочка, — прохрипел он. — Слушайся маму. Я люблю тебя.

Его толкнули в спину.

— Пошел! Быстрее!

Дверь подъезда хлопнула. Звук был как выстрел. Папы больше не было.

Остались только мы с мамой и эти люди. Они продолжали ходить по квартире, как хозяева. Они ели яблоки из вазы на столе. Наши яблоки. Один из них достал из холодильника бутылку минералки и пил прямо из горла.

Я смотрела на это и не понимала. Как так можно? Это же чужое. Папа учил меня, что брать чужое нельзя. Что нужно уважать других. А эти взрослые, сильные дяди с пистолетами они не знали этого? Или для них не существовало правил?

— Собирайся, — сказала женщина в форме, глядя на маму. — Поедешь с нами.

— А дочь? — голос мамы сорвался на визг. — Куда дочь? Я не оставлю ее!

— Дочь поедет в социально-реабилитационный центр. Опека уже выехала.

— Нет! — мама вскочила. — Нет! У нее есть бабушка! Позвоните бабушке!

— Бабушка ваша тоже в разработке, — усмехнулся следователь. — Там сейчас тоже обыск идет. Так что некуда твоей девчонке идти. Государство позаботится.

Мама заплакала. Она не плакала, когда ломали дверь. Не плакала, когда били папу. Но сейчас она завывала, страшно, по-звериному. Она кинулась ко мне, обняла, прижала так сильно, что мне стало больно ребрам.

— Не отдам! Не имеете права! Она моя дочь!

Ее отрывали от меня силой. Двое мужчин тащили ее за руки, а она цеплялась за мою пижаму. Ткань затрепала.

— Настя! — кричала она. — Настя, я найду тебя! Я обязательно тебя заберу!

Меня держала женщина-полицейский. Она пахла дешевыми духами и потом.

— Тихо, тихо, — говорила она мне, но в ее голосе не было жалости, только раздражение. — Не ори. Мамаша твоя сама виновата. В секту тебя затащила. Нормальным человеком вырастешь теперь.

Маму увел конвой. Я осталась одна в комнате, полной чужих людей.

Мне велели одеваться. Я не могла попасть ногой в колготки. Руки тряслись так сильно, что пальцы не слушались. Я надела свитер задом наперед. Никто не помог мне. Они стояли и смотрели. Кто-то писал смс в телефоне. Кто-то жевал жвачку. Им было все равно. Для них это была просто работа. Ночная смена.

Я нашла в куче вещей на полу свой сапог. Второго не было. Я искала его, ползая на коленях среди вывернутых ящичков.

— Давай быстрее! — торопила женщина. — Машина ждет.

Я нашла сапог под перевернутым стулом. Оделась. Надела шапку, которую связала бабушка. Она была теплая, розовая. Теперь она казалась мне колючей.

Перед выходом я оглянулась. Наша квартира умирала. Она была похожа на растерзанное животное. Свет горел во всех комнатах, беспощадный, яркий свет, освещающий этот позор. На полу валялись фотографии из семейного альбома. На одной из них мы с папой и мамой на море. Счастливые. Загорелые. По этой фотографии прошел кто-то в грязных берцах. Черный след перечеркнул наши лица.

— Выходим, — скомандовал голос.

Меня вывели на лестничную площадку. Там стояли соседи. Они смотрели в щели приоткрытых дверей. Никто не вышел. Никто не сказал ни слова. Я встретилась взглядом с тетей Тамарой. Она тут же захлопнула дверь. Щелкнул замок.

Мы спускались по лестнице. Ступеньки были грязными от следов множества ног. На улице было темно и холодно. У подъезда стояли машины с мигалками. Синий, красный, синий, красный. Этот свет пульсировал, как больная вена.

Меня посадили в машину с надписью «Полиция». На заднее сиденье. Рядом села та женщина.

— Куда мы едем? — спросила я.

— В безопасное место, — сказала она и отвернулась к окну.

Машина тронулась. Я прижалась лбом к холодному стеклу. Я видела, как удаляется мой дом. Окна нашей квартиры на третьем этаже все еще горели. Но там уже никого не было. Там осталась только разорванная тишина и плюшевый медведь с оторванной лапой.

Я сунула руку в карман куртки. Пальцы нащупали что-то маленькое, твердое. Это был магнитик в форме сердечка, который я хотела подарить маме на день рождения. Я сжала его в кулаке так сильно, что острые края впились в ладонь.

Это было все, что у меня осталось. Маленькое пластмассовое сердце.

Машина повернула за угол, и мой дом исчез. Темнота за окном стала густой и вязкой. Она пахла не маминым кремом. Она пахла бедой.

Я закрыла глаза и попыталась вспомнить молитву. Но слова рассыпались, как бусины. В голове билась только одна мысль, страшная и непонятная, как слово «экстремизм»: Почему львы не закрыли пасти? Почему Бог позволил им сломать нашу дверь?

Машина набирала скорость, увозя меня в ночь, где не было ни мамы, ни папы, ни имени. Только номер на спинке кровати, который мне еще предстояло узнать.

Глава 2: Стеклянная комната

Коридор был длинным и выкрашенным в тот тоскливый зеленый цвет, в который красят только больницы и подъезды. Цвет старой тины. Лампы на потолке

гудели, как рой рассерженных мух: з-з-з-з. Этот звук забирался в уши и сверлил голову изнутри.

Меня посадили на деревянную скамью. Она была высокой, и мои ноги болтались в воздухе. Я пыталась дотянуться носком до пола, чтобы почувствовать опору, но пола не было. Была только пустота.

Мимо ходили люди. Много людей. Мужчины в формах, женщины с папками, какие-то парни в наручниках, которых тащили, заломив руки. Никто не смотрел на меня. Я была маленькой точкой, пятном на зеленой стене, невидимкой.

Я сжимала в кармане пластмассовое сердце. Оно нагрелось от моей ладони и стало влажным. «Мама скоро придет, — думала я. — Это ошибка. Они сейчас разберутся, что папа не бандит, и отпустят нас. Папа просто читал книгу. Читать не запрещено».

Но время шло. Часов не было, но я чувствовала, как время становится густым и тяжелым. Хотелось пить. Во рту пересохло так, что язык прилипал к небу.

— Тетя, — тихо позвала я проходившую мимо женщину в форме. — Можно воды?

Она даже не повернула головы. Просто прошла мимо, стуча каблуками. Цок-цок-цок. Как молотком по гвоздям.

Из объяснительной записки дежурного по ОВД (фрагмент): «...В 02:15 в дежурную часть была доставлена несовершеннолетняя Петрова А.А. В связи с отсутствием свободных помещений для временного содержания несовершеннолетних, была размещена в коридоре следственного отдела под присмотром сотрудника ППС. Жалоб на состояние здоровья не поступало. Вела себя тихо, замкнуто...»

Потом за мной пришли. Это был не тот дядя, который кричал дома. Этот был моложе, в белой рубашке и галстук, который съехал набок. У него было усталое лицо и красные глаза.

— Петрова? — спросил он, глядя в бумажку. — Вставай. Пошли.

Я спрыгнула со скамьи. Мы шли долго, поворачивали, поднимались по лестнице. Везде пахло одинаково: пылью, дешевым кофе и кислым потом. Этот запах страха я запомнила навсегда.

Мы вошли в кабинет. Это была маленькая комната. Стол, два стула, шкаф с папками и окно с решеткой. За окном была чернота. На стене висел портрет президента. Он смотрел на меня строго, но уголки его губ чуть улыбались, словно он знал какой-то секрет, который мне знать нельзя.

— Садись, — мужчина указал на стул.

Я села. Стул был жестким.

Мужчина сел напротив, открыл папку, достал ручку. Он долго щелкал кнопкой: клик-клак, клик-клак. Потом посмотрел на меня.

— Ну что, Настя. Давай знакомиться. Я следователь Виктор Иванович. Знаешь, кто такой следователь?

Я покачала головой.

— Это тот, кто ищет правду, — сказал он и улыбнулся. Улыбка у него была не как у папы. У папы улыбались глаза, а у этого дяди улыбался только рот. Глаза оставались холодными, как две льдинки. — Твои родители попали в беду, Настя. Серьезную беду. И только ты можешь им помочь.

— Где мама? — спросила я. Голос дрожал.

— Мама... занята. Она сейчас беседует с другими дядями. Она очень расстроена, Настя. Она плачет. Знаешь почему?

Я сжалась.

— Потому что она понимает, что натворила. Твои родители обманывали тебя, Настя. Они заставляли тебя делать плохие вещи.

— Нет! — вырвалось у меня. — Это неправда! Мы ничего плохого не делали! Мы читали Библию!

Виктор Иванович перестал улыбаться. Он наклонился вперед, и я почувствовала запах табака из его рта.

— Библию, говоришь? А какую Библию? Ту, где написано, что нельзя праздновать праздники? Ту, где учат ненавидеть всех, кто не с вами?

— Мы никого не ненавидим! — слезы подступили к горлу. — Иисус учил любить всех! Даже врагов!

— Врагов... — он усмехнулся и что-то записал в бумажку. — Значит, мы для тебя враги? Полиция враги? Государство враг? Так папа учил?

— Нет... Папа говорил, что власти от Бога... Что надо уважать...

— Не ври мне! — вдруг рявкнул он, ударив ладонью по столу. Я подпрыгнула. — Я знаю, чему вас там учат! Вы экстремисты. Ты знаешь это слово? Экстремисты. Это те, кто хочет разрушить нашу страну. Твой отец преступник. Он руководил ячейкой. А ты жертва.

Он снова сменил тон на ласковый, и это было еще страшнее.

— Настенька, послушай. Мы хотим тебя спасти. Но для этого ты должна рассказать правду. Всю правду. Как они тебя наказывали?

— Меня не наказывали...

— Не ври. Всех детей наказывают. Били ремнем? Ставили в угол? Лишали еды?

— Никогда! — я заплакала. Слезы текли по щекам, горячие и соленые. — Папа самый добрый! Он покупал мне мороженое! Мы ходили в парк!

Следователь вздохнул, потер переносицу. Ему было скучно. Я видела, что ему скучно. Я была для него не ребенком, у которого рухнул мир, а сломанной деталью, которую нужно подогнать под инструкцию.

— Так, давай по-другому. Тебя заставляли ходить на собрания?

— Мы ходили вместе...

— Заставляли? Ты хотела играть с подружками во дворе, а тебя тащили в душную квартиру слушать бредни? Было такое?

Я вспомнила, как однажды хотела смотреть мультики, а надо было собираться на встречу. Я тогда капризничала.

— Ну... один раз я хотела мультики...

— Ага! — он быстро застрочил ручкой. — «Принуждение к участию в религиозных обрядах, ограничение досуга, психологическое насилие».

— Я не это сказала! — испугалась я. — Я люблю собрания! Там друзья! Там песни поют!

— Песни, — он скривился. — Гимны ваши сектантские. Зомбировали тебя, девочка. Капитально зомбировали. Ничего, психологи с тобой поработают. Вылечат.

В кабинет заглянула женщина. У нее были пышные волосы и яркая помада.

— Вить, ты долго еще с этой? Там опека приехала, документы требуют.

— Сейчас, Лен. Она упертая, как все они. Методички свои заучили. Ничего, сейчас подпишет и свободна.

Он подвинул ко мне лист бумаги, исписанный мелким, неразборчивым почерком.

— Подпиши вот здесь, внизу. И поедешь в хорошее место. Там игрушки, там тепло, там тебя покормят.

Я посмотрела на лист. Буквы прыгали перед глазами. Я видела отдельные слова: «насилие», «угроза жизни».

— Я не буду подписывать, — прошептала я.

Лицо следователя налилось кровью. Он схватил меня за руку, ту самую, в которой я сжимала сердечко. Сжал так сильно, что я вскрикнула.

— Твоего папы здесь нет! И больше не будет! Забудь про папу! Ты теперь государственная! Ты понимаешь это? Если не подпишешь, мы тебя в спецприемник для малолетних преступников отправим. К уголовникам. Хочешь к уголовникам? Они тебя там быстро научат родину любить.

Мне стало так страшно, что я перестала чувствовать свое тело. Я превратилась в лед. Я была маленькой ледяной статуей на большом стуле.

— Я хочу к маме... — только и смогла выдавить я.

— Мама твоя фанатичка! Она тебя в жертву принесла своему богу! Подписывай!

Он сунул мне ручку в пальцы. Моя рука не слушалась. Она была как чужая. Он накрыл мою ладонь своей огромной, горячей, влажной и начал водить ею по бумаге.

— Вот так... Пет-ро-ва... Вот и умница.

Он отпустил мою руку. На бумаге осталась кривая закорючка. Это был след насилия.

— Все, — он захлопнул папку. — Уведите.

Стенограмма разговора в коридоре (записано адвокатом С.М. через 4 часа после задержания, в доступе к подзащитной отказано):

— ...На каком основании допрашиваете несовершеннолетнюю без законных представителей?

— Представители отстранены. Они подозреваемые по тяжкой статье.

— Я адвокат семьи. Я имею право присутствовать.

— У нас нет сведений о ваших полномочиях. Девочка уже дала показания. В присутствии педагога.

— Какого педагога? Где он?

— Ушел уже. Не мешайте работать. Покиньте помещение, или я вызову наряд.

— Вы понимаете, что это похищение? Вы ломаете ребенку психику!

— Мы спасаем ребенка от экстремистской идеологии. Это вы ей психику ломали своими сказками про конец света. Всё, разговор окончен.

Меня вывели обратно в коридор. Но теперь я была не одна. Рядом со мной стояла полная женщина с папкой. От нее пахло сдобными булками, но лицо у нее было каменное.

— Пойдем, деточка, — сказала она казенным голосом. — Хватит тут сидеть.

— Мы к маме? — с надеждой спросила я.

Она посмотрела на меня как на пустое место.

— В Центр мы. На санобработку. А там видно будет.

Мы шли к выходу. Я оглядывалась. Я искала глазами папину куртку, мамин платок. Я видела много людей, но моих среди них не было.

Вдруг, в конце коридора, приоткрылась дверь. На секунду. И я услышала голос. Это был мамин голос. Она не кричала. Она пела. Тихо, срываясь, но пела. Ту самую песню, которую мы пели перед сном.

«...Он твердыня моя, и спасение мое...»

— Мама! — закричала я и рванулась из рук тетки. — Мама, я здесь!

Дверь с грохотом захлопнулась. Звук оборвался, как перерезанная нить.

— А ну тихо! — тетка больно дернула меня за плечо. — Истеричка. Вся в родителей. Пошли быстрее.

Меня вытащили на улицу. Там уже светало. Небо было серым, грязным, как снег под ногами. Город просыпался. Люди шли на работу, ехали машины. Мир жил своей обычной жизнью. Никто не знал, что в этом сером здании за решетками только что украли мое детство.

Меня подвели к машине «Скорой помощи». Но это была не та скорая, которая приезжает лечить. Эта была старая, ржавая «Газель» с мутными стеклами.

— Залезай.

Внутри сидели еще двое детей. Мальчик лет десяти и девочка постарше. Они сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели в пол. У мальчика была разбита губа.

Я села на край сиденья. Дверь захлопнулась, отрезав нас от улицы. В машине пахло бензином и хлоркой.

— Ты тоже оттуда? — шепотом спросил мальчик, не поднимая глаз.

— Откуда? — так же шепотом спросила я.

— Из дома. Где дверь ломали.

Я кивнула. Горло перехватило спазмом.

— А нас били, — сказал он буднично, как будто говорил о погоде. — Папу били током. Я слышал, как он кричал. А потом мне сказали, что папа враг народа. Как в кино про войну.

Девочка постарше обняла его и зло посмотрела на меня.

— Не говори с ней. Может, она подсадная.

— Я не подсадная, — я разжала кулак и показала им пластмассовое сердце. — Я Настя.

Машина дернулась и поехала. Меня качнуло, и я ударилась плечом о холодную стенку кузова.

Я закрыла глаза и попыталась представить нашу комнату. Книгу про львов. Теплый свет лампы. Но картинка расплывалась. Вместо нее я видела только улыбающийся рот следователя и слышала звук захлопывающейся двери.

Я поняла одну страшную вещь. Страшнее, чем темнота. Страшнее, чем холод. Я поняла, что взрослые могут врать. Не просто обманывать, как дети, когда разбили чашку. Они могут врать по-настоящему, страшно, убивая правдой, которую они сами придумали. Они могут назвать любовь насилием, а веру преступлением. И у них есть печати, чтобы это подтвердить.

Машина везла нас по утреннему городу. Я смотрела в мутное окно на проплывающие дома, магазины, школы. Там, за стеклом, была жизнь. А здесь, внутри, была стеклянная комната, из которой нет выхода.

Я прижала сердечко к груди. Оно остыло. Теперь это был просто кусок холодного пластика.

— Мама, — прошептала я одними губами, чтобы не услышала злая девочка. — Мама, они сказали, что я теперь государственная. Но это неправда, да? Я же твоя? Скажи, что я твоя.

Ответа не было. Только гул мотора и шуршание шин по мокрому асфальту. Мы ехали в никуда.

Глава 3: Казенный дом

Забор был высоким, бетонным, с колючей проволокой наверху. Точно таким же, как в моем сне, только теперь это был не сон. Ворота лязгнули, пропуская нашу машину внутрь, и захлопнулись. Этот звук лязг металла о металл стал главным звуком моей новой жизни.

Здание было серым, трехэтажным, с темными окнами, похожими на пустые глазницы. На фасаде висела табличка, но я не успела прочитать, что там написано. Меня вытолкнули из машины.

— Принимайте, — сказал водитель женщине, которая вышла на крыльцо. Она курила тонкую сигарету, держа её наманикюренными пальцами. — Новенькая.

Женщина затушила сигарету о подошву сапога, выдохнула дым в сторону и посмотрела на меня. Взгляд у неё был оценивающий, как на рынке, когда выбирают мясо.

— Опять эти, — скривилась она. — Сектанты. Ну, проходи, чего встала? Здесь тебе не молельный дом, кланяться не будут.

Мы вошли внутрь. В нос ударил запах. Это был запах, который нельзя ни с чем перепутать. Смесь хлорки, переваренной капусты и старых тряпок. Запах беды. Запах места, где никто никого не любит.

Из внутренней инструкции. «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (пункт 4.2): «При поступлении несовершеннолетнего производится полный досмотр личных вещей. Предметы, представляющие опасность, а также литература религиозного характера, не соответствующая традиционным ценностям, подлежат изъятию и передаче в следственные органы или на хранение до решения вопроса об опеке».

Меня привели в комнату, выложенную белым кафелем. Она называлась «Санпропускник». Слово было страшным, медицинским. Посреди комнаты стояла кушетка, обтянутая холодной клеенкой, и весы.

— Раздевайся, — скомандовала женщина в белом халате. Она сидела за столом и что-то писала, даже не глядя на меня.

Я замерла.

— Совсем? — тихо спросила я.

— Догола. Трусы тоже снимай. Вшей искать будем. И чесотку. Вы же там, в своих подвалах, в антисанитарии живете.

Я начала стягивать свитер. Руки дрожали, путались в рукавах. Мне было стыдно. Дома меня видела раздетой только мама. Это было что-то личное,

сокровенное. А здесь, под яркой лампой, которая жужжала, как рассерженная оса, я чувствовала себя не человеком, а вещью.

Я сняла колготки, майку. Осталась в трусиках.

— Я сказала всё снимай! — рявкнула медсестра, поворачиваясь. — Что ты жмешься? Принцесса нашлась. Видали мы таких.

Я сняла последнее. Я стояла на холодном кафеле, обхватив себя руками, пытаюсь прикрыться. Я была маленькой, худой и совершенно беззащитной.

Медсестра подошла ко мне. Её руки были холодными и пахли табаком. Она грубо повернула мою голову, начала рыться в волосах. Больно дергала пряди.

— Чистая вроде, — буркнула она разочарованно. — Странно. Обычно от вас вонь идет.

Потом началось самое страшное. Осмотр. Она трогала меня так, как будто я была куском теста. Щипала кожу, проверяя упругость. Заставляла поднимать руки, поворачиваться.

— Раздвинь ноги, — сказала она буднично.

Я вспыхнула. Кровь прилила к лицу так сильно, что уши загорелись.

— Зачем?

— Затем! Чтобы убедиться, что тебя не насиловали. Ваши же там любят это дело, — она усмехнулась, и эта усмешка была страшнее пощечины. — Давай, не тани время.

Я сделала то, что она просила. Я закрыла глаза и представила, что я не здесь. Что я птица, которая сидит на ветке за окном. Но холодные пальцы в резиновых перчатках вернули меня обратно. Это было унижительно. Это было насилие, которое называли заботой. Она искала следы преступления моих родителей, но сама совершала преступление против меня прямо сейчас.

— Одежду в мешок, — сказала она, стягивая перчатки. — Это всё на санобработку.

— Но это мои вещи! — я вцепилась в свой свитер. — Бабушка вязала!

— Здесь нет «твоего», — отрезала она. — Здесь всё государственное. Получишь форму.

Она бросила мне на кушетку стопку одежды. Серое застиранное платье, которое было мне велико, колготки с вытянутыми коленками и тапочки. Чужие тапочки. В них ходил кто-то другой. Кто-то другой потел в этом платье.

Я оделась. Платье кололось. Оно пахло чужим потом и дешевым порошком. Я посмотрела на себя в зеркало над раковиной. Из зеркала на меня смотрела серая тень. Насти больше не было. Была «воспитанница».

— И вот еще, — медсестра протянула руку. — Что там у тебя в кулаке? А ну покажи.

Я разжала пальцы. На ладони лежало пластмассовое сердечко.

— Игрушки нельзя. Вдруг ты его проглотишь или глаз кому выколешь. Сдай.

— Пожалуйста... — слезы брызнули из глаз. — Это маме...

Она просто выхватила сердечко у меня из руки и бросила его в мусорное ведро.

— Марш в душ. Три минуты. Воду не лить.

Душ был за тонкой перегородкой. Двери не было. Только клеенчатая занавеска, которая не закрывалась до конца. Вода была то ледяной, то кипятком. Рассеивателя не было, вода била тугой струей прямо из трубы, больно ударяя по плечам. Мыла не было, только кусок хозяйственного, коричневого, вонючего.

Я стояла под этой водой и плакала. Слезы смешивались с водой и уходили в слив. Я смывала с себя запах дома. Запах маминых духов. Запах папиной куртки. Я становилась стерильной. Пустой.

Свидетельство воспитателя Ирины В. (записано во время перекура на заднем дворе): «Да нормальная девка, тихая. Только дикая какая-то. Смотрит волчонком. И всё шепчет что-то. Я ей говорю: “Петрова, ты чего бормочешь?” А она замолкает сразу. Глаза в пол. У них там, говорят, дисциплина жесткая была. Отец её, говорят, фанатик, заставлял сутками на коленях стоять. Вот мы и выбиваем эту дурь. Трудотерапией, режимом. Ничего, через месяц как шелковая станет. Или сломается. Тут два варианта».

Меня отвели в группу. Это была большая комната с высокими потолками и рядами кроватей. Кровати стояли плотно, проходы были узкими. На каждой спинке висела бирка с номером.

В комнате было человек десять детей. Разного возраста. Кто-то сидел на кровати, кто-то играл на полу. Когда я вошла, все замолчали и уставились на меня.

— Новенькая, — сказала воспитательница, полная женщина с громким голосом. — Зовут Настя. Прошу любить и жаловать. И без фокусов мне.

Она ушла, оставив меня одну посреди комнаты.

Ко мне подошла девочка постарше. У неё были коротко стриженные волосы и шрам над бровью. Она жевала жвачку, громко чавкая.

— Чё, откуда? — спросила она, оглядывая меня с ног до головы. — Из детдома или от родителей?

— От родителей, — тихо сказала я.

— За что взяли? Бухали?

— Нет... — я замотала головой. — Они верующие.

В комнате повисла тишина. Девочка перестала жевать. Она прищурилась.

— Верующие? Это типа сектанты, что ли? Которые квартиры отжимают?

— Нет! — крикнула я. — Мы не отжимаем! Мы Библию читаем!

Кто-то засмеялся. Смех был злым, колючим.

— О, святоша приехала! — крикнул мальчик с верхней койки. — Сейчас молиться будет! Эй, святоша, наколдуй нам сигарет!

— Она не святоша, она богомолка, — сказала девочка со шрамом. Она подошла ко мне вплотную. — Слышь, богомолка. Здесь твоего бога нет. Поняла? Здесь я главная. Кровать твоя вон та, у двери. Там дует, но тебе полезно, смирение тренировать.

Она толкнула меня в плечо. Не сильно, но обидно.

Я пошла к своей кровати. Она действительно стояла у самой двери, на сквозняке. Матрас был бугристым, подушка тонкой, как блин. На спинке был номер: 14.

Я села на край кровати. Ноги не доставали до пола. Я поджала их под себя.

— Эй, четырнадцатая! — крикнула девочка. — Вещи есть? Конфеты? Телефон?

— Нет, — сказала я. — Всё забрали.

— Ну и лохушка.

Они потеряли ко мне интерес. Вернулись к своим делам. Кто-то играл в карты, кто-то рисовал на обоях ручкой. Я сидела и смотрела на трещину в стене. Она была похожа на молнию.

Здесь был свой мир. Жестокий, понятный только им. Здесь сильный ел слабого. Здесь нужно было кусаться, чтобы тебя не съели. А я не умела кусаться. Меня учили подставлять другую щеку.

Вечером нас повели в столовую. Мы шли строем, парами. Держаться за руки было обязательно. Моей парой была маленькая девочка с соплями под носом. Она всё время шмыгала и вытирала руку об мое платье.

Еда была невкусной. Каша была серой и липкой, как клейстер. Чай был едва сладким и пах веником.

— Ешь, — сказала воспитательница, проходя мимо моего стола. — Нечего нос воротить. Дома небось слаще морковки ничего не ела.

Я давилась этой кашей. Каждый глоток был как камень. Я вспоминала мамины блинчики. Тонкие, кружевные, с вареньем. Воспоминание было таким ярким, что я почувствовала вкус малины на языке. И от этого стало еще больнее.

После ужина было свободное время. Все смотрели телевизор в холле. Показывали новости. На экране мелькали лица людей в костюмах, танки, взрывы.

Вдруг я увидела знакомую картинку. Это был наш дом. Наш подъезд. Камера тряслась, показывая выбитую дверь.

— ...В ходе спецоперации была пресечена деятельность экстремистской ячейки... — говорил голос за кадром. — Изъята литература, оружие...

— Это мой дом! — вскрикнула я, вскакивая со стула. — Это мой папа!

На экране показали папу. Он лежал на полу, лицом вниз, руки за спиной. Крупным планом показали книгу. Мою книгу про львов.

— Смотрите, богомолка в телеке! — заорали дети. — Её батя террорист!

— Тихо! — рявкнула воспитательница. Она подошла к телевизору и переключила канал. — Петрова, сядь. Нечего тут концерты устраивать.

— Но это неправда! — я плакала, размазывая слезы по щекам. — Там не было оружия! Там были только книги!

— Мало ли что там было, — сказала она равнодушно. — Взрослым виднее. Раз забрали, значит было за что. Сиди тихо, а то к психологу отправлю. Или в изолятор.

Я села. Внутри меня всё сжалось в тугую комок. Я поняла, что никто мне не поверит. Даже если я буду кричать, даже если я выверну душу наизнанку, они увидят только то, что им сказали по телевизору. Для них я была дочерью врага. Маленьким монстром, которого нужно перевоспитать.

Из дневника наблюдений психолога Центра (первичный осмотр): «Объект: Петрова А.А. Состояние: Подавленное, замкнутое. Контакт затруднен. На вопросы отвечает односложно. Наблюдается фиксация на религиозных образах. Отрицает факт насилия в семье, идеализирует родителей (синдром заложника?). Требуется коррекция ценностных установок. Рекомендовано: ограничение контактов с внешней средой, вовлечение в коллективные мероприятия патриотической направленности, медикаментозная поддержка для снижения тревожности».

Ночью было страшнее всего. В палате выключили свет, но темно не стало. Из коридора через стеклянную вставку в двери падал желтый, болезненный луч. Он освещал ряды кроватей, спящих детей. Кто-то храпел, кто-то всхлипывал во сне.

Я лежала и смотрела в потолок. Мне было холодно. Одеяло было колючим и тонким. Я пыталась согреться, свернувшись калачиком, дышала себе в ладони.

Я хотела молиться. Это было единственное, что у меня осталось. Ниточка, связывающая меня с мамой, с папой, с Богом.

Я натянула одеяло на голову, создавая маленький домик. Темнота здесь пахла пылью.

— Иегова, — зашептала я одними губами. — Пожалуйста, помоги мне. Мне страшно. Пусть мама придет. Пусть папу отпустят. Я буду хорошей, я буду терпеть, только не оставляй меня...

— Эй! — раздался резкий шепот.

С меня сдернули одеяло. Надо мной стояла ночная нянечка. В свете из коридора её лицо казалось маской.

— Ты что там бормочешь? Опять свои заклинания?

— Я молюсь... — прошептала я, сжимаясь от страха.

— Прекратить! — шикнула она. — Здесь тебе государственное учреждение, а не секта. Молиться запрещено. Режим нарушаешь. Другим спать мешаешь.

— Я тихо...

— Я сказала нет! Еще раз услышу, в угол поставлю. На всю ночь. Или врачу скажу, укол сделают. Сразу забудешь все свои молитвы. Спи!

Она ушла, громко топая тапками.

Я осталась лежать, глядя в желтый прямоугольник света. Запрещено. Даже думать запрещено. Даже шептать в подушку. Они хотели забрать у меня не только дом, не только родителей. Они хотели забрать у меня то, что было внутри. Мою тайную комнату, где жила птица.

Я зажала рот рукой, чтобы не зарыдать в голос. Слезы текли по вискам в уши. Я представила, что я Даниил в рове со львами. Вокруг темно, пахнет зверем, слышно тяжелое дыхание хищников. Но Даниил не боялся. Потому что он знал, что он не один.

А я? Я посмотрела на соседнюю кровать. Там спала девочка со шрамом. Во сне её лицо было детским и незащищенным. Она прижимала к себе кулак, словно держала в нем что-то ценное. Может быть, тоже невидимое сердечко.

Я поняла, что этот дом не просто стены. Это машина. Огромная мясорубка, которая перемалывает детей в фарш. Одинаковый, серый, послушный фарш. Здесь у нас нет имен, только номера. Здесь у нас нет прошлого, только «анамнез».

Но я не фарш. Я Настя. Я закрыла глаза и начала молиться про себя. Без слов. Без шевеления губ. Просто кричала сердцем. «Ты видишь меня? Я здесь. Я под номером 14, у двери. Но я — это я. Не дай мне исчезнуть».

За окном завывала сирена. Где-то далеко, в городе, кому-то было плохо. Или кого-то ловили. Я повернулась к стене. На штукатурке кто-то нацарапал ногтем слово. Я присмотрелась в полумраке. Там было написано: «МАМА». И три восклицательных знака.

Я провела пальцем по этим буквам. Они были глубокими, шершавыми. Кто-то царапал их долго, может быть, много ночей подряд. Кто-то, кто лежал здесь до

меня. Я прижалась щекой к холодной стене, прямо к этому слову. Теперь я знала: это не просто слово. Это крик о помощи, который никто не слышит.

Но я слышала. И стена слышала. Завтра будет новый день. Завтра будут новые унижения. Завтра будут психологи, которые будут лезть мне в душу грязными сапогами. Но сейчас была ночь. И в этой ночи я была жива.

Я закрыла глаза и провалилась в тяжелый, липкий сон, где люди в масках снова и снова ломали нашу дверь, а я пыталась склеить фарфоровую пастушку, но осколки превращались в лед и таяли в моих руках.

Глава 4: Стена из бумаги

Суд пахнет пылью и дешевым ламинатом. А еще страхом. Этот страх не острый, как тогда, когда ломали дверь. Он тягучий, липкий, похожий на старую паутину. Он забивается в нос, оседает на одежде, и кажется, что отстирать его уже невозможно.

Мы сидим в «аквариуме». Это такая стеклянная клетка для людей. Раньше были решетки, теперь стекло. Говорят, это гуманнее. Через стекло видно, как живет мир: ходит секретарь, перекладывает бумаги прокурор, судья поправляет мантию. Но звуки долетают глухо, словно мы под водой.

Я смотрю на Андрея. Мой муж. Моя опора. За эти недели он постарел на десять лет. У него дрожат руки, когда он пытается застегнуть пуговицу на рубашке. Рубашка мятая, казенная, пахнет чужим телом. Нашу одежду не передали.

— Встать, суд идет.

Мы встаем. Ноги ватные. Я ищу глазами адвоката. Сергей Михайлович здесь, он кивает нам. У него усталое лицо человека, который пытается остановить поезд голыми руками.

Сегодня решается не наша судьба. Нас уже осудили в газетах, в телевизоре, в головах соседей. Сегодня решается судьба Насти. Государство хочет забрать у нас право называться родителями.

Из дневника адвоката Сергея М.:

«Это не суд. Это конвейер. Я работаю в системе двадцать лет, видел убийц, насильников, коррупционеров. Но такого цинизма я не видел никогда. Обычно в гражданских делах о лишении прав есть факты: родители пьют, бьют, не кормят, дома притон. Здесь идеальная семья. Характеристики с работы положительные. Соседи (те, кто не побоялся написать) говорят: тихие, вежливые. В холодильнике фрукты, мясо. У ребенка своя комната, игрушки, книги. Но у прокуратуры есть козырь. Джокер, который бьет любую карту. Этот Джокер называется “Комплексная психолого-религиоведческая экспертиза”. Я держу этот талмуд в руках. Триста страниц бреда. Триста страниц, написанных языком, который мимикрирует под науку, но наукой не является. Авторы некие социологи и психологи из центра, аффилированного с РАЦИРС. Ни один из них не видел Настю. Ни один из них не разговаривал с родителями. Они изучали “материалы”. Они изучали веру под микроскопом ненависти».

Дверь открывается, и в зал входит свидетель. Я его узнаю. Я видела его по телевизору. Это тот самый «эксперт». Человек, который знает о нас всё, хотя мы видимся впервые. Он с окладистой бородой и маленькими, бегающими глазками. Он идет уверенно, по-хозяйски. В руках у него пухлый портфель. Он кладет его на трибуну, достает платок, вытирает лоб.

— Представьтесь суду, — говорит судья. Она даже не смотрит на него. Она листает дело, и звук переворачиваемых страниц в тишине кажется оглушительным.

— Дворкин Александр Леонидович. Профессор.

— Вы предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний?

— Разумеется, Ваша честь. Я здесь, чтобы пролить свет на истинную природу этой организации.

Он поворачивается к нам. В его взгляде нет ненависти. Там что-то хуже. Там профессиональный интерес дезинсектора, который пришел травить тараканов.

— Александр Леонидович, — начинает прокурор. Молодая женщина с холодным лицом. — Поясните суду, какую опасность представляют ответчики для несовершеннолетнего ребенка?

Дворкин расправляет плечи. Он ждал этого вопроса. Он говорит гладко, заученными фразами, которые, наверное, повторял сотни раз в сотнях таких же залов.

— Уважаемый суд. Мы имеем дело с классическим случаем тоталитарной деструктивной секты. Родители, находясь под полным контролем зарубежных кураторов, осуществляли над ребенком психологическое насилие. Они изолировали девочку от социума. Они запрещали ей участвовать в праздниках, петь гимн, отмечать дни рождения. Это называется “социальная смерть”. Ребенок растет в атмосфере страха перед Армагеддоном.

Я хочу закричать. Я хочу разбить это стекло и крикнуть ему в лицо: «Ты врешь! Мы ходили в парк! Мы пекли пироги! Мы пели песни! Настя смеялась каждый день!» Но я молчу. Если я закричу, они напишут: «неуравновешенная психика», «истерическое расстройство». Я сжимаю руку Андрея так, что белеют костяшки.

— Более того, — продолжает эксперт, повышая голос. — В их литературе, которую мы проанализировали, содержится призыв к ненависти по отношению к традиционным ценностям.

— Ваша честь! — вскакивает наш адвокат. — Я протестую! Свидетель использует ненаучную терминологию. Понятия «тоталитарная секта» нет в юридическом поле. Это ярлык!

Судья поднимает на него усталые глаза.

— Протест отклонен. Эксперт высказывает свое профессиональное мнение. Продолжайте.

И он продолжает. Он достает из портфеля книги. Не наши книги. Свои книги.

— Вот, — он трясет брошюрой в мягкой обложке. — В монографии «Сектоведение» подробно описан механизм вербовки. Они используют «бомбардировку любовью». Они ломают личность. Мать, — он тычет пальцем в мою сторону, — уже не принадлежит себе. Она — биоробот. Она не способна любить ребенка, она любит только организацию.

Биоробот. Я смотрю на свои руки. Обычные руки. На безымянном пальце след от кольца, которое забрали при аресте. Я помню, как эти руки гладили Настю по голове, когда у нее была температура. Я помню, как мыла ей спинку. Как заплетала косички. Разве роботы умеют заплетать косички?

Из стенограммы судебного заседания № 4 (фрагмент допроса эксперта):

Адвокат: Скажите, господин Дворкин, вы лично беседовали с несовершеннолетней Петровой Анастасией?

Эксперт: Нет. В этом не было необходимости.

Адвокат: Вы проводили психологическое тестирование родителей?

Эксперт: Я религиовед, а не психолог. Я анализирую идеологию.

Адвокат: То есть вы утверждаете, что родители опасны, основываясь только на том, что они исповедуют религию Свидетелей Иеговы?

Эксперт: Я утверждаю, что членство в экстремистской организации автоматически делает их неспособными к воспитанию. Это аксиома.

Адвокат: Но в материалах дела есть заключение независимого психолога, который утверждает, что у ребенка сильная эмоциональная привязанность к матери. Что разлука наносит ей травму.

Эксперт: (смеется) Это стокгольмский синдром. Жертва всегда привязана к мучителю. Ваш психолог просто некомпетентен в вопросах сектантской зависимости.

Адвокат: А вы компетентны? У вас есть диплом психиатра?

Судья: Адвокат, снимите вопрос. Не давите на эксперта.

Андрей встает. Ему дали слово. Он говорит тихо. Голос срывается.

— Ваша честь... Мы любим нашу дочь. Мы никогда не желали ей зла. Мы учили ее быть честной, доброй, не воровать, не лгать. Разве это экстремизм? Мы читали Библию. Там написано: «Почитай отца твоего и мать твою». Там написано: «Не убий». Где здесь ненависть?

Прокурор перебивает его, не глядя в глаза:

— Подсудимый, вы признаете, что хранили дома литературу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов?

— Это были просто книги... О Боге...

— Да или нет?

— Да, но...

— Вопросов больше нет.

Это ловушка. Каждое слово ловушка. Если ты говоришь о Боге — ты фанатик. Если ты молчишь — ты скрываешь преступные замыслы. Если ты защищаешься — ты агрессивен. Если плачешь — ты невменяем.

Я смотрю на стол судьи. Там лежит папка. Толстая, пухлая папка с синими печатями. Это та самая экспертиза. Я знаю, как она появилась. Адвокат рассказывал. Это бизнес. Есть специальные центры. Туда отправляют запрос. Они берут готовый шаблон. Меняют фамилии. «Иванов» на «Петров». «Гербалайф» на «Свидетелей». «Йогу» на «Пятидесятников». Текст остается тем же. «Изменение сознания». «Психологическое насилие». «Угроза обществу».

Эти слова стоят денег. Больших денег. Следовательно заказывает экспертизу, эксперт пишет то, что нужно, суд штампует решение. Круг замкнулся. А посередине этого круга маленькая девочка, которая ждет маму.

— Перерыв десять минут, — объявляет судья и уходит в совещательную комнату.

Мы остаемся в клетке. Конвойный, молодой парень, скучающе смотрит в телефон.

— Андрей, — шепчу я. — Что нам делать?

Он поворачивается ко мне. В его глазах слезы. Впервые я вижу, как он плачет.

— Прости меня, Лена. Я не смог защитить нас. Я думал, правда имеет значение. Я думал, закон...

— К черту закон, — говорю я, и сама пугаюсь своих слов. — Где Настя? Ты слышал адвоката? Они ее прячут.

Адвокат подходит к стеклу.

— Лена, Андрей. Ситуация плохая. Судья даже не читает наши ходатайства. Экспертиза Дворкина для нее истина в последней инстанции. Они хотят лишить вас прав сегодня же.

— Но это невозможно! — Андрей ударяет ладонью по стеклу. — Это безумие! На основании чего? Бумажки, которую написал человек, ненавидящий нас?

— Именно, — адвокат вздыхает. — Это система. У них есть методички. Справочники, которые написал этот самый Дворкин и его друзья. Для суда эти справочники важнее Конституции. Они создали параллельную реальность, где вы монстры. И суд живет в этой реальности.

Я вспоминаю историю Елены Б., о которой читала когда-то. У нее тоже забрали ребенка. Муж нанял экспертов из команды этого «сектоведа». Они состряпали экспертизу, что она ненормальная, потому что продавала витамины. Витамины! А у нас — вера. Это для них еще страшнее.

В зал возвращается судья. Она не садится. Она стоит и читает. Быстро, монотонно, проглатывая окончания слов. «...руководствуясь статьями... принимая во внимание заключение экспертов... в интересах несовершеннолетнего...»

Слова падают, как камни. «...лишить родительских прав...» «...передать на попечение органов опеки...» «...взыскать алименты...»

Я перестаю слышать. В ушах стоит звон. Тонкий, пронзительный звон, как будто лопнула струна внутри головы. Я вижу, как шевелятся губы судьи. Вижу, как довольно кивает «эксперт», собирая свои бумаги. Вижу, как прокурор закрывает папку с чувством выполненного долга.

Они сделали это. Они взяли нашу жизнь, нашу любовь, наши бессонные ночи у кровати, наши первые шаги, наши рисунки, наши молитвы и перечеркнули все это одной синей печатью. Они постановили, что мы не родители. Мы биологический материал, испорченный «вирусом веры».

— Решение может быть обжаловано в течение месяца, — говорит судья и стучит молотком.

Этот стук как выстрел в затылок.

Конвойный открывает клетку.

— На выход. Руки за спину.

Я иду по коридору. Ноги ступают по линолеуму, но я не чувствую пола. Стена из бумаги. Мы бились об нее головой, руками, сердцем. Но она оказалась прочнее бетона. Потому что на бетоне можно написать «Мама», и это останется. А на бумаге они пишут «Сектант», и это стирает слово «Мама».

Меня ведут к автозаку. На улице весна. Светит солнце, чирикают воробьи. Мир продолжает жить, как будто ничего не случилось. Люди спешат на обед, смеются, говорят по телефону. Им все равно. Они не знают, что прямо сейчас, в этом сером здании, группе людей в мантиях и костюмах официально разрешили красть детей.

Я поднимаю голову к небу. Оно синее, чистое. «Господи, — думаю я. — Ты же видишь? Ты же все видишь. Почему Ты молчишь?»

Но небо молчит. А в голове крутится фраза из той страшной экспертизы, которую я успела прочитать через плечо адвоката: *«Субъект демонстрирует некритичное восприятие реальности и патологическую зависимость от религиозных идей, что делает его социально опасным для формирования личности ребенка».*

Я — субъект. Настя — объект. А между нами стена из бумаги, которую невозможно пробить.

Меня толкают в железное нутро машины. Дверь захлопывается. Темнота. В этой темноте всплывает лицо Насти. Она не плачет. Она смотрит на меня взрослыми, понимающими глазами и спрашивает:

— Мама, а почему дядя сказал, что ты сломалась?

Я не сломалась, доченька.

Машина трогается. Мы едем обратно в СИЗО. А где-то в другом конце города, в казенной комнате с решетками на окнах, моя дочь учится жить без меня. И это самое страшное, что может случиться с человеком.

Глава 5: Терапия души

Кабинет психолога находился на втором этаже, в самом конце коридора. Дверь была обита мягким дерматином, чтобы звуки не выходили наружу. На табличке золотыми буквами было написано: «Кабинет психологической разгрузки». Но мы, дети, называли это место «стиральной машиной». Потому что

оттуда ты выходил выжатым, пустым и перекрученным, словно тебя долго полоскали в ледяной воде.

Меня водили туда каждый день. Это называлось «индивидуальный план реабилитации».

В кабинете пахло лавандой и чем-то химическим, сладковатым. На окнах висели жалюзи, которые резали солнечный свет на тонкие полосы. На полу лежал пушистый ковер, в котором тонули ноги. Здесь все было сделано так, чтобы ты расслабился. Чтобы ты потерял бдительность.

За столом сидела Ирина Львовна. У нее были очень добрые глаза и очень холодные руки. Она всегда улыбалась, но эта улыбка не касалась глаз. Она была похожа на маску, приклеенную к лицу.

— Ну, здравствуй, Настенька, — говорила она мягким, обволакивающим голосом. — Садись в кресло. Удобно? Хочешь чаю?

Я мотала головой. Я знала: ничего брать нельзя.

— Ты все еще молчишь? — вздыхала она, перекладывая бумаги. — Зря. Мы ведь хотим тебе помочь. Ты больна, деточка. Твоя душа больна. Тебя заразили страшным вирусом, и мы должны его вытащить.

Она доставала из ящика коробку с картинками. Это были странные, размытые пятна.

— Что ты видишь здесь? — спрашивала она, показывая черную кляксу.

— Птицу, — шептала я.

— Нет, Настя. Посмотри внимательнее. Это страх. Это твой папа, который замахивается на тебя ремнем. Видишь? Вот рука, вот ремень. Вспомни, как тебе было больно.

— Папа никогда меня не бил...

— Ты просто забыла. Это защитная реакция психики. Твой мозг стер это, чтобы ты не сошла с ума. Но мы должны вспомнить. Иначе этот гнойник внутри тебя лопнет.

Она говорила и говорила. Ее голос был тихим, монотонным, гипнотизирующим. Она ввинчивала мне в голову чужие воспоминания, как шурупы.

Из методических рекомендаций для сотрудников социально-реабилитационных центров (для служебного пользования): «При работе с несовершеннолетними, изъятыми из деструктивных религиозных организаций, следует учитывать наличие у них индуцированного бредового расстройства. Ребенок может искренне отрицать факты насилия и идеализировать родителей. Задача специалиста разрушить ложную картину мира (депрограммирование) и сформировать критическое отношение к прошлому опыту. Допускается использование методов директивного внушения и создание искусственных триггеров для актуализации вытесненных травм».

Сеансы длились часами. Иногда мне казалось, что время останавливается. Ирина Львовна не кричала, не ругалась. Она делала страшнее. Она брала мое прошлое и перекрашивала его в черный цвет.

— Ты говоришь, вы читали Библию? — спрашивала она, записывая что-то в блокнот. — А ты знаешь, что это была не Библия? Это была специальная книга, написанная врагами нашей страны. Там закодированы команды. Когда ты читала, ты становилась послушной куклой. Ты ведь чувствовала, как немеют руки? Как кружится голова?

— Нет... Мне было хорошо...

— Это не «хорошо», Настя. Это наркотическое опьянение. Тебя опаивали. Скажи честно, тебе давали какой-то напиток на собраниях?

— Только сок...

— Вот! — она победно поднимала палец. — Сок. А что было в этом соке? Ты не знаешь. А я знаю. Эксперты нашли там психотропные вещества. Твои родители делали из тебя наркоманку.

Я начинала плакать. Слезы текли сами собой, от бессилия, от невозможности закрыть уши. Я хотела крикнуть: «Неправда!», но язык становился ватным.

Потому что перед сеансом меня заводили в медпункт. Там была другая женщина, в белом халате. Она не улыбалась.

— Прием витаминов, — говорила она, протягивая мне маленький пластиковый стаканчик.

В стаканчике лежали две таблетки. Одна желтая, другая белая.

— Я не хочу, — я сжимала губы.

— Пей, — равнодушно говорила медсестра. — Это для укрепления нервной системы. Ты же видишь, какая ты дерганая. Руки трясутся, под глазами круги. Врач прописал. Не выпьешь, сделаем укол. Укол больнее.

Я пила. Таблетки были горькими, они прилипали к горлу. Через двадцать минут мир начинал плыть. Стены становились мягкими, звуки доносились словно через вату. Мысли путались. Я забывала слова молитвы. Я забывала, как выглядит лицо мамы. Оставалось только чувство тяжести в затылке и голос Ирины Львовны, который проникал прямо в мозг.

— Твои родители преступники, Настя. Они не любили тебя. Они использовали тебя как живой щит. Ты для них просто цифра в отчете для зарубежных кураторов. Признай это. Скажи: «Я их ненавижу». И тебе станет легче. Мы сразу отпустим тебя в игровую комнату.

— Я люблю их... — язык заплетался.

— Это не любовь. Это зависимость. Как у алкоголика от водки. Мы тебя лечим. Это называется депрограммирование. Мы стираем плохую программу и записываем хорошую. Ты будешь нормальной девочкой. Будешь праздновать Новый год, будешь носить красивую форму, будешь любить Родину, а не американского бога.

Она вставала, подходила ко мне сзади и клала руки мне на плечи. Ее пальцы впивались в мои мышцы. — Посмотри на меня, — она разворачивала кресло к зеркалу. Из зеркала на меня смотрело чужое лицо. Бледное, с расширенными зрачками, с полуоткрытым ртом.

— Видишь? Это лицо зомби. Ты хочешь остаться зомби? Или хочешь стать человеком?

Я закрывала глаза. В темноте было безопаснее. В темноте я пыталась найти свою тайную комнату, где жила птица. Но дверь была закрыта. Таблетки украли ключ.

Свидетельство волонтера Анны К., посетившей приют (запись из личного блога, удаленная через 2 часа после публикации): «Я видела эту девочку, Петрову. Она ходит как лунатик. Заторможенная, слюну сглатывает с трудом. Спросила у медсестры, что с ней. Та отмахнулась: “Адаптация, успокоительные даем”. Но я медик, я вижу. Это не валерьянка. Это нейролептики. Они глушат здорового ребенка галоперидолом или чем-то похожим. Превращают в овощ, чтобы не сопротивлялась. А психолог их, эта дама с прической, она же не терапию проводит. Она ее ломает. Я слышала через дверь, как она орала: “Твой бог умер! Нет его! Есть только мы!” Это гестапо, а не приют».

Однажды в кабинет пришел мужчина. Он был не в форме, в обычном костюме, но от него веяло той же властью, что и от людей, ломавших нашу дверь. Он не представился. Он сел напротив меня, развалившись в кресле, и долго смотрел мне в глаза.

— Ну что, партизанка, — сказал он. — Долго будем в молчанку играть?

Ирина Львовна сидела рядом и подобострастно кивала.

— У нее сильный блок, — сказала она, словно меня здесь не было. — Глубокое кодирование. Требуется время.

— Времени нет, — отрезал мужчина. — Суд через неделю. Нам нужны показания. Железные. Чтоб ни у одного адвоката вопросов не возникло.

Он наклонился ко мне.

— Слушай сюда, Настя. Ты ведь умная девочка. Ты хочешь домой?

При слове «домой» мое сердце подпрыгнуло.

— Да, — выдохнула я.

— Вот. Отлично. Домой можно попасть. Но есть условие. Твоя мама сейчас в тюрьме. Ей там очень плохо. Она болеет. И только ты можешь ее спасти.

— Как? — я вцепилась в подлокотники кресла.

— Ты должна подписать одну бумагу. И рассказать судье правду. Правду о том, как папа заставлял тебя учить тексты наизусть. Как он не давал тебе спать, пока ты

не выучишь главу. Как они запрещали тебе дружить с ребятами. Как угрожали, что если ты не будешь верить, то умрешь в Армагеддоне. Было такое?

— Нет... Папа читал мне про львов...

— Забудь про львов! — он ударил кулаком по столу. Я вжалась в кресло. — Львы тебя сожрут, дура! Если ты не скажешь то, что я прошу, маму посадят на десять лет. Ты ее больше никогда не увидишь. Она умрет в тюрьме, и это будет твоя вина. Ты поняла? Твоя вина!

Он давил на меня, как бетонная плита. Он использовал мою любовь против меня. Это была самая страшная пытка. Не иголки под ногти, а выбор: предать папу или убить маму.

— Я не могу врать... — слезы душили меня. — Иегова ненавидит ложь...

— Иеговы нет! — заорал он. — Есть Уголовный кодекс! Есть статья 282! Твой Иегова — это выдумка американских шпионов! А тюрьма настоящая!

Он вытащил из папки лист бумаги.

— Вот. Здесь все написано. Твоей рукой написано, мы помогли тебе вспомнить. Просто подпиши внизу. И мы разрешим тебе свидание с мамой.

Я смотрела на лист. Буквы прыгали. «Я, Петрова Анастасия... подтверждаю... насилие... угрозы...»

Это была ложь. Каждое слово было черной, липкой ложью. Если я подпишу, я предам все, чему меня учили. Я предам истину. Но если я не подпишу... Мама умрет?

Я посмотрела на Ирину Львовну. Она кивнула, ласково и ободряюще.

— Подпиши, деточка. Это формальность. Это для твоего блага. Мы спасаем тебя.

В голове шумело от таблеток. Мне казалось, что я падаю в колодец. «Помоги мне, — молилась я про себя. — Боже, дай мне знак. Что мне делать?»

И вдруг я вспомнила. Вспомнила не львов. Вспомнила трех юношей в печи. Седрах, Мисах и Авденаго. Царь сказал им: поклонитесь истукану, и будете жить. А если нет — в огонь. Они не поклонились. Они сказали: «Бог наш силен спасти нас. Но даже если и не спасет, мы не поклонимся».

Даже если не спасет.

Я подняла глаза на мужчину. Страх вдруг исчез. Осталась только звенящая пустота и ясность.

— Я не буду подписывать, — сказала я тихо, но твердо.

Лицо мужчины перекошилось. Он стал багровым.

— Ах ты дрянь мелкая... Фанатичка!

Он схватил лист и скомкал его.

— Ладно. По-хорошему не хочешь. Будет по-плохому. Ирина Львовна, усилить терапию. Изоляция. Никаких прогулок. Удвоить дозу препаратов. Пусть посидит в карцере, подумает о своем поведении.

— Конечно, — кивнула психолог, и ее маска треснула. Теперь я видела в ее глазах не доброту, а холодную, профессиональную злость. Злость хирурга, у которого пациент дергается под ножом.

Меня увели. Не в группу. Меня повели в подвал. Там была маленькая комната без окон. Только лампочка под потолком в железной сетке. Кровать, привинченная к полу, и ведро.

— Посиди тут, подумай, — сказал охранник и захлопнул тяжелую дверь.

Щелкнул замок. Я осталась одна. Здесь было тихо. Сюда не долетали звуки телевизора и детские крики. Здесь пахло сыростью и безнадежностью.

Я села на кровать. Действие таблеток начинало проходить, и возвращалась боль. Голова раскалывалась. Тело ломило. Они хотели меня сломать. Они использовали науку, медицину, психологию, все достижения человечества, чтобы сломать семилетнюю девочку. Они называли это «депрограммированием».

Я легла на жесткий матрас и свернулась калачиком. Они могут забрать у меня свободу. Могут забрать родителей. Могут накачать меня таблетками так, что я забуду свое имя. Но они не могут зайти внутрь. Я представила, что строю стену. Кирпичик за кирпичиком. Прозрачную, но непробиваемую стену вокруг своего сердца. Снаружи Ирина Львовна с ее картинками. Снаружи злой дядя. Снаружи таблетки.

А внутри я. И мама. И папа. И Бог.

Я начала петь. Шепотом, едва слышно. «...Он твердыня моя...»

Дверь была толстой. Никто не услышал. Но мне казалось, что стены подвала раздвигаются. Что потолок исчезает, и я вижу звезды. Я не подпишу. Я не предам. Я буду здесь, в этой яме, но я буду собой.

Ночью мне стало плохо. Таблетки, которые меня заставили выпить, начали действовать как-то странно. Стены комнаты начали дышать. Лампочка превратилась в огромный желтый глаз, который смотрел на меня и мигал. Мне казалось, что по полу ползут змеи. Черные, скользкие змеи с лицами полицейских. Они шептали: «Отрекись... Отрекись...»

Я забилась в угол, закрыла голову руками.

— Мама! — закричала я. — Мама, мне страшно! Забери меня!

Но никто не пришел. Только глазок в двери на секунду потемнел, кто-то посмотрел внутрь и ушел. Для них это было нормально. «Ломка», — наверное, подумал охранник. «Выход из зависимости».

Я поняла, что схожу с ума. По-настоящему. Мой разум, мой маленький детский мир, не выдерживал этого давления. Он трещал по швам, как старая ткань. Я пыталась вспомнить лицо папы, но вместо него видела лицо следователя. Я пыталась вспомнить молитву, но слова превращались в бессмысленный набор звуков.

Они добились своего. Они не заставили меня подписать, но они сделали что-то хуже. Они отравили мою память. Теперь, даже когда я закрывала глаза, я не видела света. Я видела только серую муть и чувствовала вкус горькой химии на языке.

Я лежала на полу и смотрела, как желтый глаз лампочки медленно гаснет. Может быть, я умираю? Если я умру, я встречу с Богом? Или Бог тоже арестован и сидит в соседней камере?

В тишине подвала я услышала шаги. Тяжелые, уверенные. Они приближались к моей двери. Лязгнул засов. На пороге стояла Ирина Львовна. В руках у нее был шприц.

— Ну что, Настенька, — сказала она ласково. — Не спится? Буяним? Придется помочь.

Она шагнула ко мне. Игла блеснула в свете умирающей лампы. Я поняла: это конец. Сейчас она уколёт меня, и я исчезну. Настя Петрова исчезнет. Останется пустая оболочка, в которую они запишут все, что захотят.

Я прижалась спиной к холодной стене и посмотрела ей прямо в глаза.

— Вы не врач, — сказала я вдруг очень четко, голосом, который мне не принадлежал. — Вы — болезнь.

Ее рука дрогнула. На секунду я увидела в ее глазах страх. Страх перед тем, что она не может убить. Но потом она шагнула вперед.

— Держите ее, — скомандовала она кому-то в коридоре.

Тьма навалилась на меня.

Глава 6: Человек из телевизора

Телевизор в холле никогда не выключали. Он висел высоко под потолком, в железной клетке, словно опасный зверь, которого нужно держать на цепи, но который при этом управляет всем стадом. Его синий свет заливал потертый линолеум, отражался в глазах детей, в стеклах очков воспитательниц, в блестящей лысине охранника.

Это был алтарь. Когда начинались новости, жизнь в приюте замирала. Нянечки переставали греметь ведрами, воспитатели откладывали телефоны. Все смотрели вверх.

Я боялась этого ящика. Раньше, дома, мы смотрели мультики про крота или передачи про животных. А здесь из ящика лилась черная жижа. Она не пахла, как хлорка в туалете, но от нее щипало глаза и хотелось спрятаться под кровать.

В тот вечер дежурила Тамара Ивановна. Она была грузной, с одышкой и вечно красным лицом. Она не была злой, скорее равнодушной. Но в тот вечер, когда на экране появился Он, она изменилась.

— Тише! — шикнула она на мальчишек, которые возились с лего. — Сделайте звук громче. Про наших показывают.

На экране мелькали кадры. Люди в масках выбивают двери. Люди лежат на полу. Книжки летят в мешки. Я узнала эти кадры. Это было везде. В каждом городе, в каждом доме, где жили такие, как мы.

А потом камеру перевели в студию. Там, за большим столом, сидел человек. У него была борода, аккуратная, профессорская. Очки в тонкой оправе. Дорогой пиджак. Он выглядел умным. Таким, каким должен быть учитель или врач. Он говорил спокойно, уверенно, расставляя слова, как шахматные фигуры.

Под его именем была длинная подпись: «Эксперт-религиовед, профессор, борец с тоталитарными сектами».

Я не знала слова «религиовед». Но я видела его глаза. Они были маленькими и колючими, как булавки. И он улыбался. Не доброй улыбкой.

— Мы должны понимать, — говорил он, и его голос заполнял комнату. — Это не религия. Это раковая опухоль на теле нашего общества. Это тоталитарная секта, управляемая из-за рубежа. Их цель разрушить нашу идентичность, нашу историю, наши семьи.

Тамара Ивановна кивала. Она смотрела ему в рот, как завороченная.

— Но самое страшное, — продолжал человек с бородой, понизив голос до доверительного шепота, — это то, что они делают с детьми. Они превращают их в биороботов. В зомби. У этих детей нет души, есть только программа. Их нужно спасать. Их нужно изымать, лечить, депрограммировать. Иначе они вырастут врагами.

Я сидела на стуле, поджав ноги, и чувствовала, как внутри меня все холодеет. Биоробот. Я посмотрела на свои руки. На царапину на пальце. На заусенец. Разве у роботов бывают заусенцы? Разве роботы плачут по ночам, уткнувшись в казенную подушку?

— Слышали? — громко сказала Тамара Ивановна, обводя взглядом притихших детей. — Слышали, что умный человек говорит? Зомби.

Она посмотрела на меня. Впервые за все время в ее взгляде не было ни жалости, ни раздражения. Там был страх. И брезгливость. Так смотрят на таракана, который выполз из щели.

— Петрова, — сказала она. — А ну, отойди от других детей. Сядь вон там, в углу. Нечего нормальных заражать.

Из расшифровки эфира ток-шоу «Осторожно, секты!» (фрагмент выступления):

«Вы спрашиваете, почему мы действуем так жестко? Почему спецназ, почему решетки? Да потому что мы имеем дело не с людьми в привычном понимании. Мы имеем дело с мутантами. Духовными мутантами. Их сознание изменено необратимо. Посмотрите на их литературу. Это же инструкция по уничтожению государства! Они отказываются брать в руки оружие, чтобы защищать Родину. Они не голосуют. Они не празднуют наши праздники. Они создали государство в государстве. И эти люди воспитывают детей. Представьте: ребенок растет в атмосфере ненависти ко всему, что нам дорого. Ему говорят: “Мир вокруг это зло. Твоя учительница зло. Твой сосед зло”. Это психологический терроризм. Мы не просто имеем право их забирать. Мы обязаны. Это вопрос национальной безопасности. Каждый такой ребенок — это мина замедленного действия. Если мы не обезвредим ее сейчас, завтра она взорвется».

(Аплодисменты в студии. Крики «Браво!», «Давно пора!», «Сажать их надо!»).

Я смотрела на экран, где люди в красивых платьях и костюмах хлопали в ладоши. Они радовались. Они радовались тому, что меня забрали у мамы. Они радовались тому, что папа в тюрьме. Почему они так нас ненавидят? Мы же ничего им не сделали. Папа чинил краны. Мама пекла торты на заказ. Мы просто читали Библию.

Но человек с бородой говорил так убедительно. Он использовал сложные слова: «деструктивный», «вербовка», «манипуляция сознанием». Эти слова звучали как приговор. Они строили стену. С одной стороны стены были «они» нормальные, правильные, патриоты. С другой стороны были «мы» сектанты, шпионы, биороботы.

И эта стена проходила прямо через нашу игровую комнату.

После передачи ко мне подошел Витька, мальчик из старшей группы. Он всегда был задирой, но сегодня он был не просто злым. Он был «правым». Телевизор дал ему право.

— Слышь, сектантка, — он пнул мой стул. — Дядька сказал, ты шпионка. Чё, бомбу прячешь?

— Нет у меня бомбы, — тихо сказала я.

— Врешь! — он толкнул меня в плечо. — Вы все врете. У вас это... как его... разрешение на ложь. Телек врать не будет.

Воспитательница видела это. Она сидела за своим столом и заполняла журнал. Она подняла голову, посмотрела на нас. Раньше она бы прикрикнула на Витьку. Но сейчас она промолчала. Она просто опустила глаза и продолжила писать. Молчание это тоже ответ. Это согласие. Телевизор объяснил ей, что меня не жалко. Что я не совсем ребенок. Я ошибка, которую нужно исправить. Или изолировать.

Монолог медсестры изолятора, записанный журналистом (не вошедший в эфир):

«Я, честно говоря, сначала жалела ее. Девчонка как девчонка, худенькая, глаза на мокром месте. Думала: ну, родители дураки, втянули, бывает. А потом посмотрела передачу с этим профессором... Как его... Ну, вы поняли. И мне аж дурно стало. Он же все по полочкам разложил. Оказывается, у них там гипноз. НЛП какое-то. Что они улыбаются специально, чтобы в доверие втереться. “Бомбардировка любовью”, во как называется. И я теперь смотрю на нее и думаю: вот она сидит, молчит, смотрит в пол. А что у нее в голове? Может, она меня ненавидит? Может, она смерти мне желает? Профессор сказал, они всех нас считают слугами дьявола. Страшно стало. Реально страшно. Подходишь к ней укол делать, а руки трясутся. Вдруг кинется? Вдруг укусит? Они же фанатики. Им сказали “фас” они и порвут. Так что правильно их закрывают. Нельзя таким среди людей ходить. Заразно это. Как чума».

На следующий день меня вызвали к директору. В кабинете сидела не только директриса, но и еще одна женщина. Я ее не знала. Она была в строгом костюме, с папкой.

— Садись, Настя, — сказала директриса сухо. — Это Елена Сергеевна, из опеки. Она хочет с тобой поговорить.

Елена Сергеевна открыла папку. Там лежали бумаги. Много бумаг. И сверху распечатка из интернета. Фотография того самого человека с бородой.

— Настя, — начала она, и голос у нее был такой же, как у того дяди из телевизора. Уверенный, не терпящий возражений. — Мы посмотрели твоё дело. Ситуация сложная. Твои родители... они очень глубоко увязли.

— Где мама? — спросила я.

— Мама лечится. От зависимости. Ты же видела вчера передачу? Умный дядя рассказывал, как это работает. Твоя мама попала в сети мошенников. Они заставили её переписать квартиру, отдавать деньги.

— Это неправда! — я вскочила. — Мы никому ничего не отдавали! Квартира наша!

— Сядь! — рявкнула директриса.

Елена Сергеевна поморщилась, как от зубной боли.

— Вот видишь, — сказала она, обращаясь к директору. — Типичная реакция. Отрицание. Агрессия. Профессор прав: критическое мышление полностью подавлено. Ребенок повторяет заученные фразы.

Она снова повернулась ко мне.

— Настя, послушай. Ты сейчас не понимаешь, но мы тебя спасаем. Этот человек, — она постучала пальцем по фото профессора, — он герой. Он жизнь положил на то, чтобы вытаскивать таких, как ты, из ада. Он знает все про твою “веру”. Он знает, что это ложь.

— Он не знает! — слезы душили меня. — Он злой! Он врет! Он называет нас мусором!

— Не мусором, а жертвами, — поправила она холодно. — Хотя... Если ты будешь упорствовать, если не захочешь лечиться, то станешь соучастницей. Ты знаешь, что такое экстремизм?

Опять это слово. Экстремизм. Оно звучало как скрежет металла по стеклу.

— Это когда люди хотят зла своей стране. Твои родители хотели зла. И ты, если будешь их защищать, тоже станешь врагом. Ты хочешь быть врагом? Хочешь, чтобы тебя все ненавидели?

Я вспомнила глаза Тамары Ивановны. Вспомнила пинок Витьки. Вспомнила, как повариха в столовой швырнула мне тарелку с кашей, словно собаке. Меня уже ненавидели. И сделал это он. Человек из телевизора. Он не бил меня. Он не запирали меня в подвале. Он просто сказал несколько слов на всю страну. И эти слова превратили меня в чудовище.

— Я хочу к маме, — прошептала я. Это был мой единственный щит. Моя единственная молитва.

Елена Сергеевна вздохнула и закрыла папку.

— Бесполезно. Пока бесполезно. Кодировка сильная. Нужно усиливать терапию. Изолировать от информации. И никаких свиданий. Мать на нее плохо влияет. Она снова затянет ее в это болото.

— Согласна, — кивнула директриса. — Оформим как карантин.

Из статьи в местной газете «Вестник правды»: «...Благодаря бдительности правоохранительных органов и неоценимой помощи экспертов-сектоведов, в нашем городе была обезврежена ячейка опасной экстремистской группировки. Под видом изучения Библии эти люди вербовали адептов, разрушали семьи и выкачивали деньги. Особую тревогу вызывает судьба детей. Как пояснил нам ведущий эксперт, дети в таких сектах подвергаются чудовищным экспериментам над психикой. “Их лишают детства, лишают игрушек, лишают права на выбор. Из них растят идеальных солдат для информационной войны против России”, — заявил эксперт. Сейчас изъятые дети находятся в безопасности, под присмотром государственных специалистов. Но предстоит долгий путь реабилитации. Общество должно сплотиться, чтобы дать отпор этой чуме. Будьте бдительны! Если ваши соседи ведут себя замкнуто, не пьют спиртное, говорят о Боге, сообщите в полицию. Возможно, вы спасете чью-то жизнь».

Вечером я лежала в кровати и слушала дыхание других детей. Телевизор в холле наконец выключили. Но его синий свет остался в головах у взрослых. Я поняла страшную вещь. Страшнее, чем тюрьма. Тюрьма — это стены. Стены можно сломать. Из тюрьмы можно сбежать. Но как сбежать от слов? Этот человек, профессор, он построил тюрьму, которую не видно. Он сделал так, что любой прохожий на улице, любой врач, любой учитель теперь смотрит на меня и видит не девочку Настю, а «угрозу».

Он украл у меня человеческое лицо. Он надел на меня маску монстра и сказал всем: *«Бейте! Это во благо»*.

Я закрыла глаза и попыталась представить лицо Иисуса. Но вместо него всплывало лицо человека в очках. Он улыбался и говорил: *«Раковая опухоль»*. Я опухоль. Мама опухоль. Папа опухоль.

А опухоли вырезают. Их не жалеют. Их уничтожают, чтобы организм жил.

Мне стало так одиноко, как никогда в жизни. Даже в подвале было не так страшно. Там я была одна с Богом. А здесь, среди людей, я была одна против всех. Потому что все они поверили телевизору. Им было удобно поверить. Ведь если мы монстры, то они герои. Если мы зло, то они могут делать с нами все, что угодно, и при этом чувствовать себя хорошими.

Я натянула одеяло на голову. *«Мама, — подумала я. — Они говорят, что ты зомби. Они говорят, что я робот. Но роботам не бывает так больно. Роботы не плачут»*.

За стеной, в ординаторской, громко работал телевизор. Шло очередное ток-шоу. Там кричали, перебивали друг друга, аплодировали. Этот шум был похож на шум моря. Только это было море из грязи. И оно медленно, но верно затапливало весь мир, не оставляя ни одного островка, где можно было бы просто быть человеком.

Я зажала уши руками, но голос Профессора звучал у меня внутри: *«Их нужно спасти от самих себя»*.

Спасать. Теперь я знала, что это значит. Это значит — убить, чтобы не мешали жить другим.

Я сжалась в комок. Завтра будет новый день. И завтра на меня снова будут смотреть глазами, полными страха и ненависти. Глазами, которые нарисовал им человек из телевизора. И мне нечем от этого защититься. У меня нет своей передачи. У меня нет микрофона. У меня есть только мое маленькое, разбитое сердце и правда, которая никому не нужна.

Глава 7: Желтые звезды

В приюте зеркала висят высоко, чтобы мы не могли в них долго смотреться. Но мне и не нужно зеркало, чтобы знать: у меня на лбу что-то выросло. Что-то уродливое, светящееся, как гнилушка в лесу.

После той передачи по телевизору, где дядя с бородой назвал нас «опухолью», воздух вокруг меня изменился. Дети перестали со мной разговаривать, они просто замолкали, когда я входила. Воспитательницы брезгливо морщились, передавая мне тарелку, стараясь не коснуться моих пальцев.

Я чувствовала себя меченой. Как будто на мою серую казенную кофту пришили невидимый знак. Я не видела его глазами, но кожа под ним горела.

В библиотеке, куда нас водили раз в неделю «для общего развития», я нашла старую книгу. Она пахла плесенью и забытым временем. Там были черно-белые фотографии. Люди в полосатых пижамах за колючей проволокой. У них были огромные, голодные глаза, похожие на черные дыры. А на груди у них были нашиты звезды.

Я провела пальцем по шершавой бумаге. «Желтая звезда, — прочитала я подпись. — Знак позора, которым нацисты клеймили евреев, чтобы отделить их от людей».

Отделить от людей. Я закрыла книгу, и сердце у меня застучало так громко, что, казалось, библиотекарьша сейчас услышит. Я поняла. Тот дядя в телевизоре, он не просто ругался. Он пришивал нам звезды. Только не из ткани, а из слов.

Из дневника адвоката Сергея М. (запись сделана после ознакомления с материалами новой экспертизы):

«Я сижу над этими бумагами уже третью ночь, и меня не покидает ощущение дежавю. Страшного, липкого дежавю. Я историк по первому образованию, и я знаю этот язык. Я слышал эту интонацию. В экспертизе, на основании которой Настю изъяли, а ее родителей держат в СИЗО, используется термин “дегуманизация”. Но используют его не для защиты, а как инструмент нападения. Эксперты пишут: “Группа противопоставляет себя обществу”, “чуждые ценности”, “угроза национальной идентичности”. Я открываю

архивные документы 1930-х годов. Германия. Речи Вальтера Кюннета, лютеранского богослова, который обосновывал необходимость уничтожения “сектантов” и евреев. Сейчас механизм тот же. Сначала ты объявляешь группу людей “нелюдьми” (Untermensch). Ты называешь их тараканами, крысами, плесенью, опухолью. Ты лишаешь их человеческого облика в глазах обывателя. А потом, когда обыватель поверит, что перед ним не человек, а “биоробот” или “зомби”, с этим существом можно делать что угодно. Можно ломать двери. Можно отбирать детей. Можно убивать. И никто не возмутится. Потому что убивают не человека. Удаляют опухоль. Это технология. Холодная, расчетливая технология расчеловечивания. И она работает прямо сейчас, в XXI веке, в стране, которая победила фашизм».

Ночью, когда в палате стало тихо, я натянула одеяло на голову. Там, в темноте, пахло моим дыханием и немного домом. Я закрыла глаза и позвала бабушку. Бабушка Вера умерла два года назад. Но сейчас она пришла. Она села на край моей казенной кровати, и матрас даже не скрипнул.

— Бабушка, — прошептала я. — Мне страшно. Они говорят, что я враг.

Бабушка погладила меня по голове. Ее рука была теплой и сухой, как осенний лист.

— Я знаю, Настенька. Я знаю.

Я вспомнила, как мы сидели у нее на кухне. За окном выла вьюга, а у нас кипел чайник. Бабушка достала из шкатулки странный предмет. Это был маленький треугольник из фиолетовой ткани. Потертый, с дырочками от иголки.

— Что это? — спросила я тогда.

— Это память, — сказала бабушка. Голос у нее стал строгим и торжественным. — Это лиловый треугольник. Такой носили наши братья и сестры в концлагерях.

Она рассказала мне про Германию. Про то время, когда злой правитель решил, что только он может быть богом. Он заставлял всех кричать «Хайль!», что значило «Спасение только от него». А Свидетели не кричали. Они говорили: «Спасение от Иеговы».

— Их сажали в лагеря, Настя. Вместе с евреями, которых метили желтыми звездами. А наших метили лиловыми треугольниками. Знаешь, в чем была разница?

Я помотала головой.

— Еврей не мог перестать быть евреем. Он таким родился. А Свидетель мог выйти на свободу в любую минуту. Комендант лагеря давал им бумагу. Там было написано всего несколько строк: “Я отрекаюсь от своей веры. Я признаю Гитлера вождем”. Подпиши и иди домой. К детям, к жене, к теплой печке.

Бабушка замолчала, глядя на огонь конфорки.

— И что? — не выдержала я. — Они подписывали?

— Почти никто, — она улыбнулась, и в этой улыбке была такая сила, что мне захотелось выпрямить спину. — Они выбирали смерть, но не предательство. Они нашивали этот треугольник на робу и шли работать. Их били, морили голодом, травили собаками. Но они оставались свободными. Потому что внутри у них был Бог, которого нельзя отобрать.

Сейчас, в темноте приюта, я вспомнила этот рассказ. Лиловый треугольник. Желтая звезда. И слово «Сектант», которое выжег на мне телевизор.

Это одно и то же. История — это колесо, говорила бабушка. Оно крутится и давит тех, кто не успел отскочить. Сначала были нацисты. Потом, когда бабушка была маленькой, были Советы. Она рассказывала про Сибирь. «За нами пришли ночью, — говорила она. — Нам дали два часа на сборы. Погрузили в вагоны для скота. Там не было окон, только щели. Мы ехали две недели. Люди умирали прямо в вагоне, и их тела выбрасывали на станциях в снег. Нас называли “врагами народа”. Нам говорили, что мы шпионы. Что мы работаем на Америку. Все то же самое, Настя. Слова меняются, а ненависть остается».

Я лежала и думала: значит, я теперь тоже в вагоне? Этот приют — это мой вагон. Он едет в никуда. И дядя-следователь, который требовал, чтобы я подписала бумагу против мамы, он тот самый комендант. «Подпиши, и пойдешь домой». Условия те же. Цена та же.

Воспоминания Марии Степановны, 82 года (соседка Петровых, записано журналистом независимого издания):

«Я ведь помню, как это начиналось. Не сейчас, а тогда, в пятидесятом. Мне десять лет было. У нас в классе училась девочка, Люда. Тихая такая, косички всегда аккуратные. Ее родители были верующие. Сначала в газетах начали писать фельетоны. Смешные такие картинки: пауки в рясах тянут лапы к

пионерам. Учительница нам читала вслух и говорила: «Дети, будьте бдительны! Сектанты хотят украсть вашу душу». Мы смеялись. Нам было весело. Мы начали дразнить Люду. Подкладывали ей кнопки на стул. Рисовали на ее портфеле кресты. А она молчала. Не плакала, не жаловалась. Просто смотрела на нас, как взрослая на глупых щенков. А потом, в одну ночь, их увезли. Операция «Север», так это называлось. Тысячи семей погрузили в эшелоны и отправили в тайгу. На вечное поселение. И знаете, что самое страшное? Мы радовались. Мы, дети, искренне радовались, что «врагов» убрали. Нас так научили. Нам объяснили, что они не люди. Что они плесень. А сейчас я включаю телевизор и слышу те же слова. Слово в слово. «Иностранные агенты», «фанатики». И я вижу, как уводят соседку, Лену, молодую женщину, которая мне сумки помогала донести. И вижу глаза ее дочери, Насти. И мне становится так страшно, что сердце останавливается. Потому что я понимаю: мы ничему не научились. Мы снова строим лагерь».

На следующий день на уроке рисования нам дали задание: «Моя мечта». Все рисовали дома, машины, айфоны. Витька рисовал танк, который давит врагов. Я взяла фиолетовый карандаш. Я нарисовала треугольник. Просто ровный фиолетовый треугольник на белом листе. А внутри него маленькую птичку, которая летит вверх.

Воспитательница, та самая, что водила меня к психологу, подошла сзади.

— Что это, Петрова? — спросила она подозрительно. — Опять свои сектантские знаки рисуешь?

— Это история, — сказала я тихо. — Это память.

Она выхватила листок у меня из рук.

— Какая еще память? Ты что, фашистка? Ты знаешь, что треугольники в лагерях носили? Ты что, хочешь в лагерь?

— Я уже в лагере, — ответила я.

В классе повисла тишина. Дети перестали рисовать. Витька замер с поднятым фломастером. Воспитательница покраснела. Ее шея пошла пятнами.

— Ты... Ты как смеешь?! Мы тебя кормим, одеваем, спасаем от твоих чокнутых родителей, а ты... Неблагодарная тварь!

Она скомкала мой рисунок. Фиолетовый треугольник превратился в бумажный комок.

— Вон из класса! В спальню! И чтобы до ужина я тебя не видела!

Я шла по коридору. Сзади слышался шепот детей.

— Она больная... — Она фашистка... — Ведьма...

Но я не плакала. Я чувствовала странную легкость. Бабушка говорила, что самое страшное — это когда ты начинаешь верить в то, что говорят о тебе. Когда ты сам начинаешь чувствовать себя так. Но сегодня я чувствовала себя такой же, как те люди на старых фотографиях. Они не сломались. И я не сломаюсь.

Я зашла в пустую спальню. Села на кровать. Под подушкой у меня был спрятан маленький кусочек фиолетовой бумаги. Я оторвала его от упаковки шоколадки, которую приносили волонтеры на Новый год (нам их не давали, но обертку я нашла в мусорке). Я достала этот клочок. Разгладила его на коленке. Он был мятый, пах сладкой фольгой. Я приложила его к груди, туда, где бьется сердце. Невидимая булавка приколола его к моему платью.

Теперь я одна из них. Я носитель лилового треугольника. Это не знак позора. Это знак того, что я не продаюсь.

Из аналитической записки Профессора (для внутреннего пользования в силовых структурах):

«...Следует отметить высокую степень резистентности детей, воспитанных в данной организации. Стандартные методы психологической коррекции часто не дают результата из-за сформированного у них “комплекса мученика”. Они воспринимают давление со стороны государства не как наказание или воспитание, а как подтверждение своей избранности. Исторические параллели, которые культивируются внутри организации (сравнение с первыми христианами, жертвами нацизма и сталинских репрессий), создают мощный психологический барьер. Ребенок чувствует себя героем саги, борцом со злом. Для разрушения этого барьера необходимо полностью исключить героизацию. Ребенок должен чувствовать себя не мучеником, а изгоем. Не героем, а больным. Необходимо усилить медикаментозное воздействие для снижения критичности восприятия и подавления волевых центров. Рекомендую перевод объекта “Петрова А.А.” в

специализированное учреждение закрытого типа для проведения углубленной психиатрической экспертизы и лечения. В условиях общего приюта она оказывает деморализующее влияние на персонал и других детей своим демонстративным молчанием и скрытым сопротивлением».

Вечером ко мне никто не подошел. Даже нянечка, которая обычно ворчала, сегодня молча швырнула одеяло на кровать и ушла. Я стала прозрачной. Я стала призраком.

Я лежала и смотрела на луну за решеткой окна. Мир разделился. Есть те, кто клеит ярлыки. Кто придумывает слова-убийцы: «секта», «культ», «экстремист». Они сидят в теплых студиях, носят дорогие костюмы и считают себя спасителями. Они наследники тех, кто сжигал книги и людей. И есть мы. Те, на кого эти ярлыки клеят. Мы евреи в гетто. Мы «враги народа» в теплушках. Мы Свидетели с треугольниками. Мы меняемся местами, временами, именами. Но суть остается прежней. Нас ненавидят не за то, что мы сделали что-то плохое. Нас ненавидят за то, что мы *другие*. За то, что мы не маршируем в ногу. За то, что у нас есть Бог, который выше их начальников.

Я вспомнила слова из Библии, которые любил повторять папа: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Раньше мне было страшно от этих слов. Я не хотела, чтобы меня гнали. Я хотела играть в куклы и есть мороженое. Но теперь я поняла. Это не проклятие. Это знак качества. Если тебя гонят, значит, ты живой. Значит, ты настоящий. Мертвых не гонят. Роботов не сажают в тюрьму.

Дверь в комнату приоткрылась. На пороге стояла директриса и двое мужчин в белых халатах. Но это были не врачи из поликлиники. Это были санитары. Крепкие, с равнодушными лицами.

— Петрова, — сказала директриса тихо. — Собирайся.

— Куда? — спросила я, не вставая.

— В больницу. Тебе нужно подлечить нервы. Ты сегодня вела себя неадекватно. Рисунки эти... истерики... Мы не можем больше держать тебя здесь. Ты опасна для себя и окружающих.

Я встала. Я знала, что это значит. Витька рассказывал про «дурку». Про то, что оттуда возвращаются овощами, которые пускают слюни.

Я взяла свой узелок с вещами. В кулаке я сжала фантик от шоколадки, мой лиловый треугольник. Санитар грубо схватил меня за руку. Меня повели по коридору. Дети просыпались, выглядывали из-под одеял. Они смотрели на меня с ужасом.

Мы вышли на крыльцо. В лицо ударил холодный ночной воздух. У ворот стояла машина с красным крестом. Но этот крест не спасал. Он распинал. Меня втолкнули внутрь. Дверь захлопнулась.

Машина тронулась. Я закрыла глаза.

Глава 8: Диагноз — вера

Машина, которая везла меня в «больницу», не имела окон в кузове. Только маленькую зарешеченную форточку, через которую было видно кусок серого неба. Я болталась на жесткой скамье, ударяясь плечом о металлический борт на каждом повороте, но боли не чувствовала.

Внутри меня что-то выключилось. Как будто кто-то нажал кнопку «звук» на пульте, и мир стал немым.

Директриса сказала: «Тебе надо лечиться». Она не смотрела мне в глаза. Она смотрела на свои ногти. Взрослые всегда смотрят в сторону, когда делают что-то, за что им потом, может быть, будет стыдно. Но они называют это «долгом» или «инструкцией».

Мы приехали. Ворота были тяжелыми, железными, выкрашенными в тот же тоскливый зеленый цвет, что и в приюте, поверх ворот была натянута колючая проволока. Спираль Бруно. Я знала это название из папиных книг про войну.

Здание было старым, из красного кирпича, похожее на замок людоеда. Окна были закрыты решетками, не просто прутьями, а частой сеткой-рабицей, чтобы даже птица не могла сесть на подоконник.

Меня вывели. Воздух здесь пах иначе. Не хлоркой и капустой. Он пах лекарствами, мочой и чем-то сладковатым, тошнотворным. Страхом. Застарелым, въевшимся в кирпичи страхом.

— Принимайте, — сказал сопровождающий. — Спецконтингент.

Женщина в белом халате, которая вышла нас встречать, была огромной. У нее были руки как у борца сумо, и маленькие, глубоко посаженные глазки.

— Опять эти, — буркнула она, глядя в мои бумаги. — «Индукцированное бредовое расстройство». Ну-ну. Пошли, горе луковое. Будем твой бред лечить.

Из медицинской карты стационарного больного № 482/К (Петрова А.А.):

Диагноз при поступлении: Индуцированное бредовое расстройство (F24). Социальная дезадаптация. Религиозный фанатизм (в анамнезе длительное пребывание в тоталитарной деструктивной среде).

Жалобы: Отсутствуют (пациентка демонстрирует негативизм, отказ от общения).

Объективно: Контакт затруднен. Эмоциональный фон снижен. Критика к своему состоянию отсутствует. Высказывает сверхценные идеи религиозного содержания. Склонна к оппозиционному поведению.

Назначения: психотропные препараты (дозировка по схеме), наблюдение в палате строгого режима.

Меня не повели в палату сразу. Сначала была «санобработка». Это было хуже, чем в приюте. Там просто искали вшей. Здесь меня мыли, как машину. Санитарка поставила меня в ванну, включила воду из шланга и начала тереть жесткой мочалкой. Она терла так, словно хотела содрать с меня кожу.

— Смойвай, смойвай свою святость, — приговаривала она. — Ишь, чистенькая какая. Ничего, здесь все равны.

Потом мне выдали одежду. Это было не платье. Это была пижама. Огромная, застиранная до дыр, серого цвета. Штаны спадали, и мне пришлось держать их рукой. Трусов не дали.

— Не положено, — сказала санитарка. — Вдруг ты на резинке повесишься.

Меня повели по коридору. Здесь было тихо. Страшно тихо. Иногда из-за дверей доносились звуки стон, или смех, или глухой удар. Но в основном была тишина.

Мы поднялись на третий этаж. Железная дверь лязгнула, пропуская нас в отделение.

— Пятая палата, — сказала медсестра на посту. Она даже не подняла головы от кроссворда.

Я вошла. В палате было шесть кроватей. Пять из них были заняты. Девочки. Разные. Одна сидела на кровати и раскачивалась: вперед-назад, вперед-назад. У нее текли слюни, но она их не вытирала. Другая лежала, отвернувшись к стене, и тихо выла. Третья смотрела в потолок пустыми глазами и что-то шептала.

Я остановилась у порога. — Новенькая? — спросила девочка у окна. Она выглядела самой нормальной. У нее были коротко остриженные волосы и синяки под глазами.

— За что тебя?

— Я не знаю... — прошептала я. — За веру.

Она хмыкнула. Смех получился скрипучим, старческим.

— Тут все за что-то. Вон та, Катька, — она кивнула на качающуюся, — она маму ножом пырнула. А та, у стены, она вены резала. А я... я просто не хотела жить. А ты, значит, верующая?

— Да.

— Ну, здесь твоего Бога быстро вылечат. Здесь таблетки сильнее Бога.

Свидетельство бывшей санитарки детского отделения ПБ №... (анонимно): «Вы думаете, там лечат? Там овощей делают. Поступает ребенок живой, дерзкий, может, напуганный, но живой. А через неделю кукла. Глаза стеклянные, руки трясутся, язык вываливается. Это нейролептики. Старые, советские. Их во всем мире уже осторожно применяют, а у нас как витамины. Чтобы тихо было. Чтобы не бегали, не орали, вопросов не задавали. А эти, “сектанты”... Их особо любили. Врачи говорили: “У них мозг поврежден идеологией, надо перегружать”. И кололи двойные дозы. Это называется “купирование острого состояния”. А какое там острое состояние? Ребенок

просто молится перед едой. А ему укол в задницу, и в вязку. Вязка — это когда к кровати привязывают. Руки, ноги. И лежишь так сутки. Под себя ходишь. Это чтобы “смирение” выработать».

Первый раз меня вызвали к врачу на следующий день. Кабинет был светлым, чистым. За столом сидел мужчина в очках. Аркадий Львович. Он был похож на того профессора из телевизора, только без бороды. Тот же умный, пронизывающий взгляд, та же брезгливая складка у губ.

— Садись, Петрова. Я села на стул. Он был привинчен к полу.

— Ну, рассказывай. С кем разговариваешь? Голоса слышишь?

— Нет, — сказала я.

— Не ври врачу. В твоём деле написано: разговаривает с невидимым другом. Называет его Иегова. Просит о помощи.

— Это молитва...

— Молитва, — он снял очки и начал протирать их платком. — Видишь ли, Настя. В науке это называется галлюцинаторный синдром. Ты придумала себе друга, потому что тебе было плохо. Твои родители заставили тебя поверить, что этот друг реален. Но это болезнь. Шизофрения. Вялотекущая, но опасная.

— Я здорова! — крикнула я. — Я нормальная! Это вы больные! Вы всех запираете!

Аркадий Львович вздохнул. Он не разозлился. Он посмотрел на меня с профессиональной жалостью. — Агрессия. Отсутствие критики. Типичная картина. Ты считаешь себя избранной, Настя? Считаешь, что ты лучше других? Что ты знаешь истину, а мы все — «мирские», «погибшие»?

— Я так не считаю... Я просто хочу домой.

— Домой ты не поедешь, пока не выздоровеешь. А выздоровление начнется тогда, когда ты признаешь, что твоя вера — это бред. Когда ты перестанешь молиться. Когда ты начнешь сотрудничать.

Он нажал кнопку на столе. Вошла медсестра.

— Усилить терапию. И беседы с психологом каждый день. Нам нужно разрушить эту доминанту.

Потом начался ад. Он не был огненным. Он был химическим.

После обеда нас строили в очередь перед постом медсестры.

— Рот открой. Язык подними. Глотаи. Я глотала. Таблетки были маленькими, белыми и желтыми. Через полчаса начиналось.

Сначала немел язык. Он становился большим, ватным, не помещался во рту. Потом начинали дрожать руки. Не просто дрожать, как от холода, а жить своей жизнью. Пальцы скрючивались, дергались. Но самое страшное было в ногах. Это называлось «неусидчивость». Внутри мышц словно заводили пружину. Тебе нужно бежать, идти, двигаться, но ты не можешь, потому что тело тяжелое, как мешок с песком. Ты ложишься — ноги дергаются. Встаешь — падаешь. Ты ходишь по палате от стены к стене, как зверь в клетке. Шаг, поворот. Шаг, поворот. И так часами.

Мысли становились вязкими, как кисель. Я пыталась вспомнить лицо мамы, но оно расплывалось. Я пыталась вспомнить стих из Библии, но слова убегали. «Господь — пастырь мой... пастырь... пастырь...» А что дальше? Я забыла. Я забыла, что дальше.

Я села на пол и заплакала. Но слез не было. Таблетки высушили слезы. Был только сухой, лающий всхлип.

Ко мне подошла та девочка, Оля.

— Крутит? — спросила она. Я кивнула.

— Это «галочка». Терпи. Если будешь жаловаться, добавят. Попробуй качать ногой. Вот так.

Она показала. Сидела и мелко-мелко трясла ногой. — Так легче. Немного.

— Зачем они это делают? — спросила я. Язык заплетался.

— Чтобы мы не думали. Думать вредно. Врачи говорят, от мыслей голова болит.

Из письма адвоката Сергея М. в прокуратуру (жалоба оставлена без удовлетворения): «...Условия содержания моей подзащитной, несовершеннолетней Петровой А.А., по мнению защиты можно квалифицировать как пытки. Ребенок, не имеющий подтвержденного психиатрического диагноза в анамнезе, подвергается воздействию сильнодействующих нейрорепрессантов, на фоне

которых наблюдаются экстрапирамидные расстройства (нейролептический синдром) и иные признаки нейролептических осложнений. Девочка жалуется на боли в мышцах, тремор, невозможность концентрировать внимание. У защиты имеются основания полагать, что данные меры применяются не с лечебной, а с карательной целью для подавления воли ребенка и принуждения к отказу от религиозных убеждений. Это может составлять нарушение ст. 3 Конвенции о защите прав человека. Врачи ссылаются на «методические рекомендации» Центра религиозно-медицинских исследований во имя священномученика Ириней Лионского, где религиозная вера Свидетелей Иеговы описывается в медицинизированных терминах, сводимых к представлению о психопатологии. Это напоминает практики карательной психиатрии СССР, когда инакомыслие лечили аминазином...»

Дни слились в одно серое пятно. Подъем. Таблетки. Завтрак (каша, похожая на клей). Обход. Таблетки. Обед. Тихий час (лежать и смотреть в потолок, пока ноги дергаются). Таблетки. Ужин. Отбой.

Изоляция была полной. Никаких писем. Никаких звонков.

— Тебе никто не пишет, — говорила медсестра, раздавая почту другим детям.
— Забыли тебя твои сектанты. И родители забыли. Им вера важнее дочери.

Я знала, что она врет. Мама не могла забыть. Папа не мог забыть. Но червячок сомнения, которого поселил во мне Аркадий Львович, рос. Он питался химией из таблеток. «А вдруг правда? Вдруг я больная? Вдруг Бога нет, а есть только этот серый потолок и решетки?»

Однажды меня повели на «экспертизу». Это была большая комната, где сидели три человека. Аркадий Львович и две женщины. Они показывали мне картинки.

— Что здесь нарисовано?

— Дом.

— А кто в доме живет?

— Семья.

— А семья счастливая?

— Да.

— А почему они счастливые? Потому что молятся или потому что у них есть телевизор?

Вопросы были с подвохом.

— Настя, — сказала одна из женщин. — Ты боишься конца света?

— Я жду Рая...

— Ага! — она что-то записала. — Ожидание апокалипсиса. Страх смерти. Депрессивный синдром.

— Вот видишь, — кивнул Аркадий Львович. — Отрицание реальности. Бредовая установка. Она живет в выдуманном мире.

Они говорили обо мне в третьем лице, как будто я была стулом. Или лабораторной мышью.

— Субъект демонстрирует ригидность мышления.

— Индуктор (мать) имеет сильное влияние.

— Прогноз неблагоприятный. Рекомендуются продление стационарного лечения.

— Я хочу к маме! — закричала я. Нервы не выдержали. Химия, усталость, страх все вырвалось наружу. — Отпустите меня! Вы фашисты! Вы как в концлагере!

В кабинете повисла тишина. Аркадий Львович медленно снял очки.

— Фашисты, говоришь? Это тебя папа научил? Ненависть к государству. Экстремизм в чистом виде. Он нажал кнопку. — Санитаров. В пятую.

Меня тащили по коридору. Я брыкалась, кусалась, кричала. Я превратилась в зверька. Меня бросили на кровать. Санитар, пахнувший табаком, навалился на меня всем весом. Я задыхалась.

— Лежи смирно, сучка сектантская!

Они привязали мои руки к спинке кровати широкими матерчатыми лентами. Туго. Так, что кисти сразу начали неметь. Потом ноги. Я лежала распятая. Подошла медсестра со шприцем.

— Расслабься. Сейчас поспишь.

Укол был болезненным, горячим. Через минуту потолок начал опускаться на меня. Я не могла пошевелиться. Я не могла почесать нос. Я не могла вытереть слезу, которая скатилась в ухо. Я была куклой. Сломанной куклой, которую бросили в угол.

Темнота навалилась тяжелым одеялом. В этой темноте не было снов. Были кошмары. Мне снилось, что я дерево. Мои ноги корни, вросшие в бетон. Мои руки ветки, которые рубят топором. А вместо листьев у меня таблетки. Белые, желтые, синие. Они падают на землю, и из них вырастают новые решетки.

Я проснулась от жажды. Язык прилип к небу.

— Пить... — прохрипела я.

Никто не подошел. В палате была ночь. Девочки спали. Я дернула рукой. Ленты держали крепко. Я поняла, что я одна. Совсем одна во всей вселенной. Бог? Где Ты? Почему Ты позволяешь им делать это? Может, Ты тоже связан? Может, Тебя тоже обкололи аминазином, и Ты спишь где-то в соседней палате?

Эта мысль была страшнее всего. Страшнее боли. Если Бога связали, то кто спасет меня?

Я лежала и смотрела на пятно света на потолке. Оно было похоже на глаз. «Я не сумасшедшая, — шептала я пересохшими губами. — Меня зовут Настя. Мою маму зовут Лена. Моего папу зовут Андрей. Мы любим друг друга. Это правда. А то, что здесь — это ложь».

Я начала собирать себя по кусочкам. Вот мой палец. Он болит, но он мой. Вот мое сердце. Оно стучит. Тук-тук. Тук-тук. Пока оно стучит, я живая.

Я маленькая девочка в пижаме на три размера больше. Они могут связать мои руки. Могут отравить мою кровь химией. Могут написать в карте «шизофрения». Но они не могут залезть в ту маленькую точку внутри меня, где живет моя любовь.

Я закрыла глаза и начала петь. Про себя. Без звука. Песню, которую мы пели с мамой, когда пекли пироги. Это была не церковная песня. Просто детская песенка про улыбку. «От улыбки хмурый день светлей...» И вдруг мне показалось, что ленты на руках ослабли. Совсем чуть-чуть. Это была не правда. Это действовал аминазин. Но мне стало легче.

Утром пришла санитарка.

— Очухалась? — спросила она, развязывая узлы. — Ну и вони от тебя. Под себя сходила?

Мне было стыдно. Стыдно до смерти. Я лежала в мокрой постели, униженная, раздавленная.

— Вставай, мойся. И на завтрак.

Я встала. Ноги подкосились, и я упала на пол. Санитарка подняла меня, как мешок.

— Ничего, привыкнешь. Тут все привыкают. Или ломаются.

Я посмотрела на нее.

— Я не ломаюсь, — сказала я. Голос был тихим, скрипучим, как у старухи.

— Ну-ну, — усмехнулась она. — Посмотрим. У нас тут и не таких ломали. Профессора, академики все овощами становились. А ты козявка.

Она потащила меня в ванную. Я шла, волоча ноги, и чувствовала, как внутри меня, в той самой точке, которую они не смогли достать, начинает расти что-то твердое. Это была не злость. Злость сгорает быстро. Это было упрямство. Упрямство травы, которая пробивает асфальт.

Я посмотрела в зеркало над раковиной. Из зеркала на меня смотрело чужое лицо. Серое, с запавшими глазами, с обкусанными губами. Но в глубине зрачков, там, где еще не подействовал препарат, горел маленький, едва заметный огонек. Моя жизнь.

— Мама, — прошептала я отражению. — Я здесь. Я еще здесь.

За дверью слышались шаги. Тяжелые, уверенные шаги Аркадия Львовича. Он шел проверять, сработала ли «терапия». Я выпрямила спину. Насколько могла. Пусть приходит. Я готова.

Глава 9: Эксперты

В кабинетах, где решаются судьбы, всегда тихо. Здесь нет запаха хлорки и тюремной похлебки, нет криков детей и лязга засовов. Здесь пахнет дорогим парфюмом, свежесваренным кофе и озоном от работающих кондиционеров. Здесь лежат ковровые дорожки, глушащие шаги, а окна выходят не на тюремный двор, а на купола соборов или правительственные здания. Здесь не бьют дубинками. Здесь убивают бумагой.

Я, адвокат Сергей Михайлович, держу в руках эту бумагу. Она тяжелая, почти триста страниц. На обложке гербовая печать и название: «Комплексная психолого-лингвистическая и религиоведческая экспертиза». Это то самое оружие, которое разрушило семью Петровых и сотни других семей. Это фундамент, на котором стоит новая тюрьма. Я листаю страницы, и меня охватывает холод. Я вижу не научный труд. Я вижу инструкцию по расчеловечиванию.

Из стенограммы закрытого семинара для сотрудников региональных управлений по противодействию экстремизму (Центр «Э»). Лектор: Профессор, член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции, эксперт Центра религиоведческих исследований.

«Коллеги, вы должны понимать, с кем мы воюем. Отбросьте иллюзии. Перед вами не бабушки с Библией. Перед вами солдаты невидимого фронта. Вы спрашиваете, где их оружие? Их оружие в их головах. Это идеология. Мы живем в условиях информационной войны. Наши геополитические противники используют так называемые “новые религиозные движения” как троянского коня. Их центры управления находятся там, за океаном. Посмотрите на структуру их организации. Это же идеальная шпионская сеть! Железная дисциплина. Беспрекословное подчинение. Сбор информации о гражданах — адреса, привычки, слабости. Они ходят по квартирам не проповедовать. Они проводят разведку. Ваша задача не просто пресечь деятельность. Ваша задача нейтрализовать угрозу национальной безопасности. Запомните термин: “Тоталитарная секта”. Нет такого понятия в законе? Неважно. Оно должно быть в ваших рапортах, в ваших головах, в головах судей. Мы дадим вам научное обоснование. Мы объясним, что эти люди не совсем люди. Это зомби. Биороботы. У них изменено сознание. А значит, к ним

нельзя применять обычные мерки гуманизма. Когда хирург вырезает гангрену, он не жалеет ткани. Он спасает организм. Мы с вами — хирурги России».

Я смотрю на подпись под экспертизой. Знакомая фамилия. Этот человек не психиатр, не лингвист. У него диплом историка-архивиста и степень по богословию, полученная в американском колледже, который он сам же теперь называет «рассадником ереси». Но для суда он истина в последней инстанции.

В материалах дела я нахожу переписку. Это не официальные запросы, это электронные письма, распечатанные кем-то по ошибке или намеренно забытые в папке. Письмо от местной епархии, которая сотрудничает с РАЦИРС, начальнику управления МВД. *«Уважаемый Иван Петрович! Направляем вам список адресов, где собираются адепты деструктивной секты. Просим принять меры. Также сообщаем, что отец Николай готов провести беседу с личным составом о духовной опасности данных групп. С Божией помощью очистим нашу землю от скверны».*

Вот она, связка. Симфония. Церковь дает идеологию: «Они еретики и враги души». «Эксперты» из центра РАЦИРС дают псевдонаучную базу: «Они — экстремисты и враги психики». Силовики дают кулаки и наручники: «Они — враги государства».

Это идеально отлаженный механизм. Конвейер. Сначала в прессе появляется статья. «Осторожно: сектанты-убийцы!». Журналист не проверяет факты, он берет пресс-релиз у «сектоведов». Потом появляется «пострадавший». Обычно это человек, которого выгнали из общины за пьянство или воровство. Или психически неуравновешенный, которому внушили, что во всех его бедах виновата «секта». Потом заявление в прокуратуру. Потом эта самая экспертиза. Она пишется под копирку. Меняются только фамилии и названия городов. Текст один и тот же: «контроль сознания», «вербовка», «ущерб личности». И финал — штурм, арест, приют, тюрьма.

Разговор в курилке Следственного комитета (записано на диктофон адвокатом во время перерыва, качество записи низкое, слышен шум ветра).

«— ...Да мне плевать, во что они там верят. Хоть в макаронного монстра. Ты видел их квартиру? Трешка в центре. Чистая, ремонт свежий.

— И что?

— А то. Конфискация имущества — слышал такое? У нас план горит по экстремизму. Террористов ловить это по горам бегать надо, опасно. А эти смирные. Дверь выпилил, в пол положил, они даже не сопротивляются. Оружия нет, наркоты нет. Красота.

— А девчонку жалко.

— Кого? Дочку их? Да брось. Мы ее спасаем. Ты слышал, что профессор на лекции говорил? Они бы ее в жертву принесли. Или лечить не стали.

— Так она здорова вроде.

— Это пока. Профилактика, брат. Лучше перебдеть. За это дело, кстати, звездочку обещают. И премию. Начальство довольно: раскрыли заговор законспирированную ячейку, связь с Западом пресекли.

— А связь точно есть?

— Обижаешь. Литературу нашли? Нашли. А там написано: «Printed in Germany» или «USA». Вот тебе и связь. Иностранцы агенты. Враги. А с врагами разговор короткий. Ты, главное, в протоколе пиши правильно: «психологическое насилие», «вовлечение». Эксперты подмахнут».

Я закрываю папку. Мне хочется вымыть руки. Они даже не ненавидят Петровых. Это было бы хоть какое-то человеческое чувство. Нет, здесь хуже. Здесь бизнес. Здесь карьера. Для следователя Андрей Петров — это ступенька к повышению. Для «эксперта» — это гонорар за экспертизу (очень, очень солидный гонорар) и чувство собственной значимости. Он чувствует себя великим инквизитором, спасающим цивилизацию. Для оперативника — это просто легкая работа. Не надо искать убийцу, который может выстрелить в ответ. Можно просто прийти к доброму, порядочному сантехнику, напугать его жену, забрать ребенка и получить медаль. Банальность зла. Ханна Арендт писала об этом, глядя на нацистских преступников. Они не были монстрами с рогами. Они были бюрократами. Они просто «хорошо делали свою работу». Наши эксперты такие же.

Я достаю из портфеля еще один документ. Это перевод статьи с сайта европейской организации FECRIS. «Европейская федерация центров по исследованию и информированию о сектантстве». Звучит солидно. Наши «борцы» очень любят ссылаться на них. «Мы не одни! Европа с нами! Франция с нами!» Я читаю текст. Те же слова. «Mental manipulation» (манипуляция сознанием),

«sectarian deviation» (сектантское отклонение). Оказывается, наш «эксперт» бывший вице-президент этой организации. Он со своей командой ездили в Париж, в Марсель. Пили вино, ели круассаны и обсуждали, как лучше запрещать людей. Они получают гранты. Они создают видимость международной поддержки. «Смотрите, — говорят они в Кремле. — Даже на Западе понимают опасность! Мы в авангарде борьбы!»

Это ложь. Я знаю, что FECRIS в Европе часто проигрывает суды. Их называют нарушителями прав человека. Но здесь, за железным занавесом пропаганды, об этом никто не знает. Здесь они уважаемые партнеры.

Из личного дневника того самого «эксперта», фрагмент:

«Сегодня был тяжелый эфир. Оппоненты пытались давить на жалость. “Дети плачут”, “семьи рушатся”. Глупцы. Они не видят большой картины. Мы строим ковчег. Россия — последний оплот традиционных ценностей. Вокруг бушует океан либерализма, толерантности, вседозволенности. Эти секты — это трещины в борту нашего ковчега. Через них просачивается чужая воля. Да, приходится действовать жестко. Да, лес рубят — щепки летят. Эта девочка, Настя... Ну что ж, она сопутствующий ущерб. Жертва войны. Если мы не сломаем их сейчас, завтра они будут в Думе. Завтра они откажутся брать в руки автомат. Завтра они скажут, что у них есть другой Царь — небесный. А в государстве должен быть один царь. И одна вера. Мне выделили средства на новую методичку для МВД. “Выявление скрытых признаков экстремизма в религиозной литературе”. Надо написать, что призыв к любви к врагам — это на самом деле призыв к неуважению к власти. Сложная диалектика, но проглотят. Судьи всё проглотят. Им главное, чтобы было “научно”. Я чувствую себя демиургом. Я создаю реальность».

Я вспоминаю глаза судьи на последнем заседании. Она молодая женщина. У нее, наверное, тоже есть дети. Когда я говорил о том, что Настю пичкают нейролептиками, что это пытка, она опустила глаза. Она перебирала бумаги. Она все понимала. Я видел это: она понимала, что творит беззаконие. Но она боялась. Боялась председателя суда. Боялась звонка сверху. Боялась, что если она оправдает «экстремистов», то завтра «экстремистом» назовут ее. Система построена на страхе. Не только жертвы боятся палачей. Палачи боятся друг друга. «Капитанство». Феномен, когда экипаж видит, что капитан направляет самолет в

гору, но молчит, потому что авторитет капитана непререкаем. Наш самолет летит в гору. А капитан — это коллективный страх.

В дверь моего кабинета стучат. Входит Елена Сергеевна, мать одного из обвиняемых по другому делу. Она плачет.

— Сергей Михайлович, они снова пришли. С обыском. Забрали бабушку. Ей восемьдесят лет! Они говорят, она финансировала экстремизм.

— Как? — устало спрашиваю я.

— Она пенсию откладывала. На похороны. Нашли в шкафу пятьдесят тысяч. Сказали — это касса секты.

Я смотрю в окно. Вечерний город зажигает огни. Люди спешат домой, в кафе, в кино. Они не знают, что рядом с ними работает гигантская мясорубка. Она работает тихо. Без дыма и грохота. Она работает на чернилах и печатях.

Эксперты этой системы учли всё. Они учли нашу пассивность. Они учли, что если назвать человека «сектантом», то его никто не будет жалеть. Они учли, что суды в России — это не место для дискуссий, а отдел по штамповке решений.

Но они не учли одного. Того, что было в глазах Насти, когда я видел ее в последний раз, мельком, в коридоре больницы. Они не учли, что душу нельзя расстрелять по статье 282. Они могут забрать тело, могут забрать имущество, могут забрать репутацию. Но они не могут забрать то, что не им принадлежит.

Я беру ручку. Мне нужно писать апелляцию. Я знаю, что ее отклонят. Я знаю, что областной суд перепишет слово в слово решение районного. Но я буду писать. Потому что я — свидетель. Я свидетельствую не об Иегове. Я свидетельствую о преступлении. О преступлении, которое совершается под флагом защиты духовности.

Из внутренней переписки сотрудников Центра «Э» (чат в мессенджере):

Опер1: Слышал, адвокат опять жалобу накатал? На условия содержания мелкой.

Начальник: Пусть пишет. Бумага все стерпит. Экспертиза у нас железобетонная. Дворкинские ребята постарались. Там так расписано, что хоть сейчас в Гаагу подавай на родителей, за геноцид ребенка.

Опер1: А с квартирой что?

Начальник: Квартира пойдет в доход государства. А потом... ну, ты знаешь схему. Аукцион, свои люди. Не переживай, твоя доля будет.

Опер1: Добро. Слушай, а они реально верят, что конец света скоро?

Начальник: Да хрен их знает. Нам-то что? У нас свой конец света — переаттестация. Если показателей не будет, вот это Армагеддон. Так что работаем, братья. Ищем новых. Там еще список от епархии пришел, человек на двадцать.

Я выключаю свет в кабинете. В темноте папка с экспертизой кажется белым кирпичом. Кирпичом в стене, которая отделила нас от цивилизованного мира. Они называют это «суверенитетом духа». Я называю это нацизмом. И страшно то, что мы привыкаем. Город спит. А в желтом доме за решеткой маленькая девочка пытается вспомнить молитву, которую из нее вытравливают химией.

Я выхожу на улицу. Ветер швыряет мне в лицо мокрый снег. Где-то там, в кабинетах, уже готовят новые списки. Новые экспертизы. Новые судьбы, которые нужно перемолоть в фарш ради отчета. Машина работает. И остановить ее может только одно. Голос. Голос, который скажет: «Нет». Но пока люди молчат. И это молчание страшнее любого приговора.

Глава 10: Молчание мира

Тишина бывает разной. Бывает тишина покоя, когда падает снег. Бывает тишина ожидания перед праздником. А бывает тишина, которая кричит. Тишина, которой мир отвечает на твою боль.

Голос Андрея (отца), из письма, которое так и не дошло до адресата:

«Я пишу это письмо на обрывке бумажного мешка из-под цемента. Другой бумаги в камере не дают. Карандаш мне передал сокамерник, убийца-рецидивист. Он жалеет меня. Он говорит: “Андрюха, ты ж мухи не обидишь, за что тебя так?” А

следователь не жалеет. Следователь говорит, что я хуже убийцы. Потому что убийца убивает тело, а я — душу нации.

Я пишу в ЕСПЧ. Я пишу в ООН. Я пишу Президенту. Я пишу в газеты. Я знаю, что эти письма не выйдут за пределы СИЗО. Их подошьют в дело как доказательство моей “неисправимости”. Но я пишу, потому что должен верить, что где-то там, за стенами, есть люди.

Неужели никто не видит? Неужели это возможно в XXI веке? Вломиться в дом, избить отца, забрать маленькую девочку и бросить её в психушку только за то, что мы читали книгу? Я представляю, как мое письмо читает какой-нибудь важный чиновник в Женеве или Страсбурге. Он пьет кофе, у него красивый вид из окна. Он читает: “Мою дочь пытаются нейролептиками”. Он морщится. Ему неприятно. Это портит вкус кофе. Он ставит штамп: “Принято к сведению”. И идет на обед.

Мир огромен. В нем есть интернет, спутники, правозащитники. Но между мной и миром — стена. И эта стена построена не из кирпича. Она построена из равнодушия. Нам говорят: “Вы сами виноваты. Вы отделились от общества”. Но разве мы строили заборы? Мы всегда были открыты. Мы звали в гости. Мы помогали соседям. Это вы построили забор вокруг нас. Вы наклеили на нас ярлык “Секта”, как желтую звезду, и сказали: “Этих не жалко”.

Вчера по радио (здесь есть радиоточка, ее нельзя выключить) говорили про нас. Диктор сказал: “Обезврежена ячейка экстремистов”. И потом прогноз погоды. Понимаете? Моя жизнь, жизнь моей Насти — это просто новость между курсом валют и погодой. Мир проглотил нас и даже не поперхнулся».

Из разговора в учительской школы № 14 (записано на диктофон журналистом, который готовил репортаж «Как распознать врага»):

— ...Да жалко девочку, конечно. Тихая была, рисовала хорошо. Но вы поймите, мы же не можем рисковать.

— Чем рисковать, Марья Ивановна?

— Детьми! Другими детьми. Вы слышали, что по телевизору говорили? Этот профессор, как его... Дворкин, кажется? Или кто-то из его центра. Он же ясно объяснил: они зомбируют. Это как вирус. Сегодня она с вашей дочкой за одной

партой сидит, а завтра ваша дочка домой придет и скажет: «Мама, ты неправильно живешь».

— Но Настя никогда не проповедовала в школе.

— Это пока! Это у них тактика такая. «Бомбардировка любовью». Сначала втираются в доверие, а потом — бац! И всё, нет человека. Биоробот.

— Вы действительно верите, что семилетний ребенок биоробот?

— Я верю специалистам! У нас было собрание, приходил человек из органов, и батюшка был. Они нам рассказывали про тоталитарные секты. Цель такой секты — разрушение государства. Вы хотите, чтобы у нас как на Украине было? Или как в Америке с этими расстрелами?

— При чем тут расстрелы? Свидетели Иеговы оружие в руки не берут.

— Ой, да мало ли что они говорят! Это прикрытие. В тихом омуте черти водятся. Правильно их изолировали. Государству виднее. У нас просто так не сажают. Если забрали, значит, было за что.

— А если это ошибка?

— Лучше перестраховаться. Мне моих учеников жалко, нормальных, православных. А эти... они сами свой выбор сделали. Нечего было от людей отделяться.

Свидетельство адвоката Сергея М.:

Я устал. Я профессионал, я не должен поддаваться эмоциям. Но когда ты бьешься головой о стену, и стена смеется над тобой это ломает.

Мы подали апелляцию. Мы принесли справки от независимых психиатров, что Настя здорова. Мы принесли характеристики на родителей — идеальные, хоть на доску почета вешай. Мы привели свидетелей, которые говорили: «Это лучшая семья в нашем доме».

Судья слушала, глядя в телефон. Прокурор даже не вставал, когда говорил. Он бубнил себе под нос: «Оснований не доверять экспертизе нет». Той самой экспертизе, которую написали люди, ненавидящие моих подзащитных. Люди, которые сделали карьеру на охоте на ведьм.

Я выхожу из здания суда, и ко мне подходят журналисты. Местный телеканал.

— Скажите, — спрашивает молодая девочка с микрофоном, — как вы можете защищать этих монстров? Вам не стыдно?

— Каких монстров? — спрашиваю я.

— Это сантехник и кондитер. — Они экстремисты! — кричит она. — Они детей убивают! Они кровь пить заставляют!

— Откуда вы это взяли?

— Нам эксперт рассказал. Александр Леонидович Дворкин. Он врать не будет, он профессор.

Я смотрю на нее и вижу: она искренне верит. Пропаганда — это страшная вещь. Она работает как радиация. Ее не видно, но она разрушает мозг. За последние годы они создали идеальный образ врага. Сначала они придумали термин «тоталитарная секта». Юридически такого термина нет. Но эмоционально — это приговор. Сектант — это не человек. Это чужой. Потом они начали крутить фильмы про опасные секты. Там показывали страшные кадры: какие-то ритуалы, безумные глаза, деньги в чемоданах. И говорили: «Это Свидетели». Никто не проверял факты. Никто не спрашивал позицию самих верующих. Зачем? Врага не спрашивают. Врага уничтожают. И общество поверило. Они верят не так, как все. «Ату их!» — крикнул телевизор. И миллионы людей ответили: «Ату»

Я пытался привлечь международные организации. Писал в Human Rights Watch. Они выпускают доклады. «Мы глубоко озабочены». «Мы призываем». И что? Кремль смеётся над этими докладами. А европейские суды... Они далеко. Пока жалоба дойдёт до Страсбурга, Настя вырастет в детдоме. Или погибнет в психушке.

И есть ещё один момент, о котором не принято говорить. Наши «борцы с сектами» — они ведь не сами по себе. Они дружат с такими же «борцами» на Западе, как FECRIS. Они сидят в Париже, получают гранты от правительств. И они говорят то же самое: «Секты — это зло». Наши кивают на них: «Смотрите! Даже в просвещённой Европе понимают опасность! Мы в тренде!» Это глобальный стговор против инакомыслия. Они называют это «защитой духовной безопасности». Я называю это нацизмом. Когда государство решает, во что тебе верить и как молиться — это нацизм. Когда у матери отбирают ребёнка за то, что она читает Библию — это нацизм. И когда общество молчит, глядя на это, — это тоже нацизм.

Голос Насти (из «больницы»):

Здесь окна в клеточку. Небо в клеточку. И жизнь в клеточку. Я стою у окна и смотрю на улицу. Там ходят люди. Маленькие, как муравьи. Вон женщина ведет ребенка за руку. Мальчик в синей куртке. Он ест мороженое. Они смеются. Они проходят мимо моего окна, мимо забора с колючей проволокой. Они даже не поднимают голову. Им все равно.

Раньше я думала, что если случится беда, люди придут на помощь. Как в книжках. Чип и Дейл спешат на помощь. Но никто не спешит. Мир забыл про меня. Для мира я исчезла. Меня стерли ластиком. Была Настя, и нет Насти. Есть «пациентка Петрова». Есть «дочь экстремистов». Есть «объект опеки».

Вчера приходила комиссия. Важные тётки и дяди. Они не смотрели на меня. Они смотрели в бумаги.

— Динамика положительная, — сказал врач. — Агрессия снизилась. Религиозный бред купирован.

Я сидела на стуле, и у меня дрожали руки. От таблеток. Я хотела сказать: «Я не брежу! Я хочу к маме!» Но язык был ватным. Я не смогла. А они кивнули и ушли. Они пошли пить чай в ординаторскую. Я слышала, как они смеялись в коридоре. Обсуждали отпуск, дачу, рассаду. Как они могут? Как они могут пить чай и смеяться, когда за стеной привязывают детей к кроватям?

Я поняла страшную вещь. Они не злые. Они просто... никакие. Им просто удобно не замечать. Если они заметят, что я живая девочка, им станет больно. Им станет стыдно. Поэтому они придумали сказку. Сказку про то, что я больная, а мои родители преступники. В этой сказке они добрые спасители. Им так легче спать.

Выдержка из статьи на популярном новостном портале (раздел «Общество», 1500 комментариев):

Заголовок: «Сектанты готовили детей к смерти? Шокирующие подробности дела семьи Петровых».

Текст: «...Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, изъятая литература содержала призывы к отказу от медицинской помощи и

неподчинению властям. Эксперты утверждают: ребенка готовили к роли жертвы. Психологическая обработка начиналась с пеленок. Девочке внушали ненависть к традиционным ценностям...»

Комментарии пользователей:

Patriot_777: Правильно сделали! Давить эту гадину надо. Развелось предателей. В Америку их всех выслать, пусть там своему Иегове молятся!

Мама_двух_ангелов: Какой ужас! Бедный ребенок. Слава богу, спасли. Я бы таких родителей стерилизовала. Как можно мозги ребенку пудрить?

Ivanov_Ivan: А доказательства где? Может, они просто верующие?

• **Ответ пользователю Ivanov_Ivan:** Ты что, защищаешь их? Сам небось из этих? В органы сообщить надо, проверить твой IP. Дыма без огня не бывает. По телевизору врать не будут.

Справедливый: Мало дали. Надо было пожизненное. Это же терроризм духовный. Они наших детей воруют!

Это пишут люди. Откуда в них столько яда? Их научили. Им каждый день капали на мозг: «Враги, враги, враги». Им сказали: «Свидетели Иеговы — это не люди. Это агенты Запада. Это шпионы». И люди поверили. Потому что страшно жить, когда не знаешь, кто виноват в твоих бедах. А тут показали пальцем: «Вот они! Ату!»

Это технология. Так было в Германии в 30-е годы. Сначала говорили: «Евреи виноваты во всём». Рисовали карикатуры. Писали статьи. Потом начали бить витрины. Потом начали сажать. И общество молчало. Или аплодировало. «Мы очищаем нацию!» — кричали они. Сейчас они кричат то же самое. Только вместо слова «еврей» — слово «сектант».

Голос «Эксперта» (из лекции для сотрудников ФСБ):

— Коллеги, отбросьте ложный гуманизм. Мы имеем дело с хищниками. Они маскируются под овец, но внутри волки. Вы смотрите на эту девочку и видите ребенка. А я вижу бомбу замедленного действия. Ее сознание изменено. Она не

принадлежит нам. Она принадлежит Организации. Если мы не вырвем ее сейчас, завтра она станет фанатичкой. Она приведет других. Да, методы жесткие. Да, разлука с семьей — это травма. Но когда у человека гангрена, мы отрезаем ногу, чтобы спасти тело. Сектантство — это гангрена общества. Мы — хирурги. Хирурги не должны плакать. Хирурги должны резать.

Посмотрите на опыт наших коллег. Во Франции тоже понимают опасность. Там работают центры FECRIS. Мы с ними на связи. Мы делаем одно дело — защищаем цивилизацию от мракобесия. Не слушайте либералов. Не слушайте правозащитников. Они отрабатывают свои гранты. Слушайте голос совести. А совесть говорит: Россия должна быть единой. Духовно монолитной. Иностранцам здесь не место.

Голос матери (Лены), из тюремной больницы:

Мне приснилось, что я кричу, но звука нет. Я стою посреди огромной площади. Вокруг тысячи людей. Они идут по своим делам, говорят по телефонам, едят бутерброды. Я хватаю их за руки.

— Помогите! — кричу я беззвучно. — У меня украли дочь! Ее мучают!

Они отмахиваются от меня, как от назойливой мухи. Кто-то бросает мне монетку. Кто-то плюет мне под ноги.

— Сектантка, — читаю я по губам.

Я проснулась в холодном поту. В камере темно. Слышно, как капает вода из крана. Кап. Кап. Кап. Это время уходит. Каждая капля — это секунда, которую моя дочь проводит в аду. И никто не придет. Бог видит, я знаю. Но Бог молчит. Может быть, Он тоже плачет? Может быть, Он смотрит на этот мир, который Он создал, и не узнает его? Мир, где любовь называют преступлением. Мир, где правда стала экстремизмом. Мир, где миллионы людей согласились быть слепыми и глухими, лишь бы их не трогали.

Я вспоминаю историю про двухлетнего ребёнка. В 1993 году в Америке, во время штурма «Маунт Кармел», репортёр сказала: «Был убит двухлетний член секты». Не ребёнок. Член секты. С этого всё началось. Когда вы называете ребёнка «членом секты», вы даёте себе разрешение его убить. Или посадить в клетку. Или

накачать наркотиками. Потому что «члена секты» не жалко. Жалко ребёнка. А «сектанта» — нет.

Они сделали это с моей Настей. Они отняли у неё имя. Отняли детство. Они превратили её в «объект». И весь мир согласился с этим.

В коридоре «больницы» выключили свет. Осталась только дежурная лампа. Настя лежит на кровати. Руки не привязаны, сегодня она вела себя «хорошо». То есть молчала. Она смотрит на стену. Там, в пятнах плесени, ей чудятся лица. Мама. Папа. Бабушка. Они улыбаются. Но они нарисованные. Они не могут сойти со стены и забрать её.

За окном воеет сирена. Может быть, полиция. Может быть, скорая. Кому-то плохо. Кого-то спасают. Но не её. К ней никто не придет. Потому что для мира, который там, за решеткой, она уже умерла. Она ошибка системы, которую нужно исправить. Стереть. Забыть.

Настя закрывает глаза. Внутри нее, в той самой тайной комнате, где жила птица, становится очень тихо. Птица больше не поет. Птица забилась в угол и дрожит. Потому что птица поняла: клетка не снаружи. Клетка теперь везде. И ключа нет ни у кого.

Завтра будет новый день. Завтра придет Ирина Львовна. Придет Аркадий Львович. Они будут улыбаться своими мертвыми улыбками. Они будут говорить: «Мы тебя спасаем». И никто в целом мире не крикнет: «Стойте! Что вы делаете?»

Тишина. Только слышно, как бьется сердце. Тук-тук. Один удар из миллионов. Никому не нужный удар.

Настя поворачивается к стене. Она больше не ждет. Надежда — это больно. Надежда — это когда ты смотришь на дверь и ждешь, что она откроется. А дверь не откроется. Ее заварили снаружи равнодушием миллионов людей.

— Мама, — шепчет она в подушку. — Я здесь. Но меня здесь нет.

И в этой тишине, в этом молчании мира, что-то внутри нее начинает меняться. Что-то хрупкое, детское, нежное начинает твердеть. Или умирать. Чтобы выжить в аду, нужно перестать быть человеком. Нужно стать камнем. Или зверем. Но это будет завтра. А сегодня только тишина. Страшная, ватная, бесконечная тишина мира, который предал своих детей.

Глава 11: Сломанные куклы

Ночь в этом месте не наступает. Свет в коридоре никогда не гаснет полностью, он лишь становится мутно-желтым, похожим на гной. Этот свет просачивается сквозь щели в дверях, сквозь решетки, сквозь закрытые веки. Он следит.

Я лежу и не дышу. Если не дышать, то становишься невидимой. Это главное правило. Второе правило не быть красивой. Третье правило не быть живой.

Здесь, в отделении для «сложных», нет имен. Есть клички и диагнозы. Меня зовут «Святоша». Или «Молчунья». Но чаще меня никак не зовут. Меня просто берут. Как вещь, которая лежит не на своем месте.

Я смотрю на соседнюю койку. Там лежит Ксюша. Ей четырнадцать, но разум у нее как у пятилетней. Она улыбается во сне. У Ксюши нет передних зубов, их выбили, когда она «плохо себя вела». Ксюша счастливая. Она забыла, как это, когда больно. А я помню.

Дверь скрипит. Этот звук я узнаю из тысячи. Это не скрип петель, это скрип моей судьбы, которая ломается пополам. В палату входит Тень. Это не врач. Врачи спят в чистых кабинетах. Это не медсестра. Это «старшие».

В нашем корпусе есть иерархия. Наверху — директор. Потом врачи. Потом санитары. А потом — «актив». Это парни из мужского крыла, которым семнадцать-восемнадцать лет. Они здесь давно. Они знают систему. Санитары дают им ключи, чтобы они «свели за порядком». Санитарам лень ходить по ночам. Они пьют спирт в каптерке и смотрят сериалы. А «актив» выходит на охоту.

Тень приближается к моей кровати.

— Спишь, Святоша? — шепот липкий, как паутина.

Я зажмуриваюсь изо всех сил. Я превращаюсь в камень. В деревяшку. В кусок стены. «Боже, сделай так, чтобы меня не было. Боже, пусть я исчезну».

Но рука Тени тяжелая. Она ложится мне на плечо, сжимает.

— Не притворяйся. Я знаю, что не спишь. Пошли. Санитар разрешил. Сказал, тебе полезна «социализация». А то всё молишься да молишься.

Меня стаскивают с кровати. Я в одной пижаме. Пол ледяной, но я не чувствую холода. Меня трясет, но это не дрожь тела. Это дрожит что-то внутри, тонкое и хрупкое, как стекло перед ударом.

Мы идем по коридору. Мимо поста медсестры. Там горит настольная лампа, слышен храп. Никто не поднимет голову. Никто не спросит: «Куда ты ведешь ребенка?» Потому что здесь нет детей. Здесь есть «спецконтингент». Государство забрало меня у родителей, чтобы защитить. В документах написано: «Угроза жизни и здоровью в семье». И вот я здесь. Под защитой государства. Иду по желтому коридору в туалет в конце крыла, где нет камер наблюдения.

*Свидетельство бывшей санитарки ГБУЗ «Психиатрическая больница №...»
(запись на диктофон, голос изменен):*

«Вы думаете, мы не знали? Все знали. Это система. Зарплаты копеечные, работать никто не хочет. Контингент тяжелый — подростки с девиантным поведением, отказники, детдомовские. Санитаров не хватает. Поэтому администрация закрывает глаза на “дедовщину”. Старшие держат младших в страхе. За это им поблажки: сигареты, телефоны, ключи. А эти, “сектанты”... Они же самые незащищенные. За них некому заступиться. Родители в тюрьме или лишены прав. А сами они сдачи не дают. У них вера такая “не противься злему”. Для местных урок это как красная тряпка. Я видела ту девочку, Петрову. Утром она шла на завтрак, держась за стенку. Бледная, как мел. На шее синяки. Я спросила: “Что с тобой?” А она молчит. Смотрит сквозь меня. Я пошла к заведующей. Говорю: “Там беспредел ночью был”. А он мне: “Мария Ивановна, не лезьте не в свое дело. У девочки фантазии на почве религиозного психоза. Она сама себя щипает, чтобы мученицей казаться. Это у них в методичках прописано”. И я промолчала. Мне до пенсии два года. Куда я пойду?»

В туалете пахнет хлоркой и мочой. Кафель скользкий. Тень толкает меня к стене.

— Ну что, — говорит он. У него прыщавое лицо и пустые, рыбы глаза. — Покажи, чему тебя в твоей секте учили. Говорят, вы там оргии устраиваете?

— Нет... — шепчу я. Голос чужой, скрипучий. — Мы Библию читали...

Он смеется. Звук отражается от кафеля и бьет по ушам.

— Библию. Сейчас мы почитаем.

Он прижимает меня к холодной плитке. В этот момент я умираю. Это не физическая смерть. Сердце продолжает стучать, легкие втягивают вонючий воздух. Но Настя Петрова, девочка, которая любила рисовать птиц и печь с мамой пироги, выходит из тела. Она поднимается вверх, под самый потолок, туда, где мигает лампочка в грязном плафоне. Она садится на этот плафон и смотрит вниз.

Внизу происходит что-то страшное. Большое, тяжелое тело мнет маленькое, худое. Слышны хрипы, возня, звук разрываемой ткани. Но Насте наверху не больно. Она смотрит на девочку внизу как на куклу. У куклы вывернули руку. Куклу испачкали. Ничего. Куклы не плачут. Куклы пластмассовые.

«Мама, — думает Настя. — Хорошо, что ты этого не видишь. Ты бы умерла. А я не могу умереть».

Когда все заканчивается, Тень застегивает штаны.

— Вали в палату, — бросает он. — И вякнешь кому — убью. Скажу, что ты сама приставала. Тебе никто не поверит. Ты же сумасшедшая. У тебя справка есть.

Девочка внизу сползает по стене. Она натягивает разорванную пижаму. Она не плачет. У нее сухие глаза. Она встает и идет. Настя с потолка спускается и ныряет обратно в это грязное, больное тело. Потому что другого у нее нет.

Утром был обход. Врач, Аркадий Львович, был в хорошем настроении.

— Ну, как наши дела? — спросил он, листая карту. — Жалобы есть?

Я стояла перед ним, опустив голову. Мне хотелось кричать. Мне хотелось сорвать с себя одежду и показать синяки. Показать кровь. Но я вспомнила слова Тени: «Тебе никто не поверит». И я вспомнила слова мамы: «Бог есть любовь». Где здесь любовь? Если Бог допустил это, значит, Он отвернулся. Или Его сюда не пускают. Здесь на дверях замки, которые даже Бог не может открыть.

— У меня болит живот, — сказала я тихо.

Врач поморщился.

— Опять симулируем? Петрова, мы же договорились. Ты пьешь таблетки, ведешь себя хорошо, и мы тебя не трогаем. Живот у нее болит... Это психосоматика. Ты не хочешь принимать лечение, вот организм и сопротивляется.

Он повернулся к медсестре.

— Что у нее с гигиеной? Санитарка жаловалась, что простынь грязная.

Медсестра хмыкнула.

— Энурез, наверное. Или... ну, вы понимаете. Пубертат, гормоны играют. Плюс расторможенность на фоне отмены религиозных запретов.

Они обсуждали меня так, будто я была сломанным тостером.

— Расторможенность, — записал врач. — Гиперсексуальность как проявление шизотипического расстройства. Усилить седативные.

Я слушала и понимала: если я скажу правду — они назовут это «гиперсексуальностью» и увеличат дозу галоперидола, если я промолчу — Тень придет снова.

Я выбрала третий путь. Я выбрала стать куклой навсегда.

Из дневника волонтера, посетившего учреждение (запись не была опубликована из-за угрозы судебного преследования):

«Я видела ее через неделю. Я ее не узнала. Раньше в ее глазах был страх. Страх это живое чувство. Страх означает, что человек борется, что он хочет спастись. Теперь страха не было. Была пустота. Черная, бездонная дыра вместо зрачков. Она сидела на стуле в коридоре и смотрела в одну точку. Слюна текла из уголка рта, но она не вытирала ее. Я подошла, села рядом на корточки.

— Настя? — позвала я. — Настя, это я, Аня. Я принесла тебе яблоко.

Она медленно повернула голову. Это было движение механизма, у которого садится батарейка.

— Насти нет, — сказала она. Голос был ровный, без интонаций.

— А кто есть?

— Оболочка.

— Что с тобой сделали, милая? Тебя обидели? Она вдруг улыбнулась. Это была самая страшная улыбка, которую я видела в жизни. Улыбка мертвеца.

— Меня спасли, — сказала она. — Дядя врач сказал, что меня спасли от секты. Теперь я чистая. Теперь я пустая. В пустой кувшин можно налить что угодно. Она взяла яблоко, но не стала его есть. Она начала катать его по коленке. Вперед-назад. Вперед-назад. Я увидела у нее на запястьях следы. Не от вязок. От пальцев. Синие пятна, похожие на отпечатки чьей-то жестокости. Я побежала к главврачу. Я кричала, требовала вызвать полицию, провести экспертизу. Меня вывели охранники.

— Девушка, не истерите, — сказал мне начмед на прощание. — Девочка склонна к самоповреждению. Это часть ее диагноза. Вы своим вмешательством только дестабилизируете пациента. Больше мы вас не пустим. Я стояла за воротами и выла от бессилия. Я знала, что там, за кирпичными стенами, прямо сейчас убивают душу ребенка. И делают это по закону, с печатями и подписями».

Дни потекли серой рекой. Я перестала различать утро и вечер. Таблетки стали моими друзьями. Когда выпьешь горсть разноцветных шариков, мир становится ватным. Боль уходит далеко-далеко. Тень приходил еще несколько раз. Но меня там уже не было. Я научилась уходить на потолок мгновенно. Как только слышала скрип двери. Тело оставалось внизу. Оно терпело. Оно дышало. Оно даже иногда что-то говорило, если приказывали. Но Я была недостижима.

Я построила себе дом внутри головы. Там не было стен. Там был луг. Зеленый, залитый солнцем. Там папа читал книгу про львов. Там мама смеялась и поправляла волосы. Я сидела там, на траве, и плела венки из одуванчиков. В этом мире не было врачей. Не было судей. Не было «экспертов». Там я была в безопасности.

Но иногда реальность прорывалась и туда. Однажды меня повели в душевую. Там была другая девочка, новенькая. Ее привезли вчера. Она плакала и звала маму. Она еще не знала правил. Она еще была живой. Я посмотрела на нее и почувствовала странное шевеление в груди. Жалость? Нет, жалость — это для людей. А я кукла. Это была зависть. Я завидовала ее слезам. Я завидовала тому, что она еще может чувствовать боль.

— Не плачь, — сказала я ей. — Слезы кончатся. А они нет. Она посмотрела на меня с ужасом.

— Ты кто? — Я никто. Я вещдок номер 482.

— А где твои родители? — Их стерли.

В тот день я впервые за долгое время подошла к зеркалу. Оно висело в коридоре, мутное, засиженное мухами. Я посмотрела на свое отражение. Серая кожа. Спутанные волосы, которые давно никто не расчесывал. Потухшие глаза. Но самое страшное было не это. Самое страшное было то, что я не видела ребенка. Я видела старуху в теле девочки. Я видела существо, которое познало всё зло мира и не сломалось, а просто... выключилось.

Из материалов уголовного дела (заключение судебно-психиатрической экспертизы, проведенной спустя полгода): «...У подэкспертной наблюдается стойкое диссоциативное расстройство личности, эмоциональная уплощенность, апатия. Контакт формальный. На вопросы о сексуализированном насилии отвечает односложно, без аффективной окраски, что может свидетельствовать о фантазировании или глубокой травматизации. Учитывая анамнез (воспитание в тоталитарной секте), данные высказывания следует трактовать критически, как проявление индуцированного бреда преследования...»

Они всё перевернули. Мою боль они называли бредом. Мое молчание согласием. Мою смерть лечением.

Я сижу на кровати и качаю ногой. Вперед-назад. Вперед-назад. Это ритм моей новой жизни. За окном идет снег. Он чистый. Он падает на грязь двора и закрывает ее белым покрывалом. Я хочу быть снегом. Снегу не больно, когда по нему ходят сапогами. Снег просто тает и становится водой.

Вчера приходил священник. Настоящий, в рясе, с крестом. Его пустили в отделение. Врач сказал: «Духовная терапия». Он подошел ко мне, погладил по голове. Рука у него была тяжелая, пахла ладаном.

— Бедное дитя, — сказал он. — Заблудшая овечка. Покайся, отрекись от ереси родителей, и Господь простит тебя. Мы покрестим тебя, и бесы уйдут.

Я посмотрела на него снизу вверх. Я видела не священника. Я видела еще одну Тень. Только эта Тень пришла не насиловать тело. Она пришла насиловать то, что осталось от души.

— У меня нет бесов, — сказала я тихо. — Бесы это вы. Он отдернул руку, как от огня.

— Одержимая! — прошипел он. — Врач, тут нужен экзорцизм. Или препарат.

Врач кивнул.

— Удвоить дозу.

Вечером мне сделали укол. Мир окончательно погас. Мой внутренний луг начал вянуть. Трава стала серой. Солнце почернело. Я поняла, что они добрались и туда. Химия прожгла дыру в моем убежище.

Я легла на подушку, закрыла глаза. «Мама, — позвала я в последний раз. — Мама, я больше не могу держать дверь. Они входят».

Дверь в мою душу, которую я держала из последних сил, рухнула. Внутри хлынула черная, липкая жижа. Безразличие. Мне стало все равно. Пусть делают что хотят. Пусть бьют. Пусть колют. Пусть насилуют. Здесь больше никого нет. Дом пуст. Хозяева ушли.

Я превратилась в идеального пациента. Я не плачу. Я ем кашу. Я открываю рот для таблеток. Я киваю, когда мне говорят, что мои родители преступники.

— Вот видите, — говорит Аркадий Львович студентам, которые пришли на практику. — Динамика положительная. Ребенок социализируется. Критика восстанавливается. Мы спасли ее.

Студенты записывают в блокноты. Они смотрят на меня с интересом, как на редкое насекомое в банке. Они не видят, что банка пуста. Они не видят, что внутри сидит маленькая, сломанная кукла с вырванным сердцем.

Я смотрю в окно. Там, за решеткой, садится солнце. Оно красное, как воспаленный глаз. Завтра будет новый день. Но для меня он уже не наступит. Я осталась во вчера. В той ночи, когда скрипнула дверь.

Я памятник. Памятник вашему «спасению». Смотрите на меня. Смотрите и бойтесь. Потому что если вы смогли сделать это со мной — вы уже не люди. Вы тоже куклы. Только у вас внутри не пустота. У вас внутри гниль.

Я закрываю глаза.

Мама, я здесь. Но меня здесь больше нет.

Глава 12: Мама, я здесь

Прошло семь лет. Или сто. Время в таких историях измеряется не календарями, а шрамами. Один шрам — год. Глубокий рубец — пятилетка.

Я стою на перроне. Ветер здесь такой же, как в тот день, когда меня увозили. Колючий, злой, пахнувший мазутом и чужими прощаниями. Только теперь я не плачу. Я разучилась плакать на третьем году «лечения». Врачи сказали, что это «стабилизация эмоционального фона». Я знаю, что это просто выжженная земля. Там, где раньше росли цветы и текли реки, теперь сухая глина.

Мне восемнадцать. В паспорте, который мне выдали месяц назад, стоит моя фамилия. Петрова. Но я чувствую себя самозванкой. Настя Петрова умерла в той палате с решетками на окнах. Та, кто стоит сейчас на ветру, — это кто-то другой. Кто-то, сшитый из осколков, склеенный казенным клеем, с протезом вместо души.

Я жду поезд. Поезд «Воркута — Москва». В нем едет женщина, которую я называла мамой. Я пытаюсь вспомнить ее лицо. Не то, с фотографии, которую у меня отобрали при обыске. А живое. Теплое. Пахнущее ванилью и кремом для рук. Но память выдает только серый цвет. Серый бушлат. Серое лицо за стеклом в комнате свиданий, куда меня пустили один раз, три года назад. Мы тогда молчали. Мы смотрели друг на друга через грязное стекло и не могли найти слов. Потому что слова остались в той жизни, до стука в дверь. А для этой жизни слов еще не придумали.

Из письма Елены Петровой (матери), написанного за неделю до освобождения (неотправленное):

«Доченька. Я боюсь. Я не боялась, когда меня судили. Я не боялась, когда мне зачитывали приговор — шесть лет общего режима. Я не боялась в карцере, когда крысы бегали по ногам. Но сейчас я боюсь. Я боюсь увидеть твои глаза. Мне сказали, что ты “социализировалась”. Что ты закончила школу-интернат. Что ты “нормальная”. Это слово режет меня без ножа. “Нормальная”. Это значит такая, как они хотели? Удобная? Послушная? Без Бога? Я боюсь, что не узнаю тебя. И боюсь, что ты не узнаешь меня. Я возвращаюсь к тебе пустая. У нас нет дома, квартиру забрали за долги по судам и штрафам. У нас нет вещей, все разграблено или сгнило. У нас нет папы. Папа остался там, в колонии, его срок длиннее моего. И сердце у него слабее. Я везу тебе только свою любовь. Но нужна ли она тебе теперь? Любовь, которая не смогла защитить. Любовь, из-за которой тебя лишили детства. Есть только дыра в груди, размером с эти шесть лет».

Поезд подходит тяжело, с лязгом. Люди выходят. Они суетятся, обнимаются, тащат сумки. Я стою у столба. Я не бегу. Ноги словно приросли к асфальту. Я вижу ее. Она выходит последней из вагона. Маленькая, сторбленная старушка в нелепом платке. Ей всего сорок пять, но выглядит она на семьдесят. Она ставит на перрон клетчатую сумку. Оглядывается. В ее движениях привычка быть виноватой. Привычка ждать окрика. Она втягивает голову в плечи, словно ждет удара.

Я делаю шаг. Потом еще один.

— Мама. Голос звучит глухо, как из колодца. Она вздрагивает. Поворачивается. Ее глаза выцветшие, водянистые, начинают бегать по моему лицу. Она ищет. Ищет ту девочку с косичками. Но видит девушку с коротким ежиком волос (в интернате стригли коротко), с жесткой складкой у губ, с взглядом, в котором слишком много зимы.

— Настя? — шепчет она.

Она не бросается обнимать. Она боится меня коснуться. Вдруг я рассыплюсь? Или вдруг я оттолкну? Я подхожу вплотную. Мы две стороны одной медали. Две жертвы одной войны, о которой никто не объявлял. Я беру ее за руку. Ее ладонь шершавая, пальцы узловатые, с въевшейся грязью под ногтями.

— Я здесь, мама, — говорю я. И в этот момент плотина прорывается. Не слезами. Слезы кончились. Она просто падает мне на грудь, как подкошенная, и начинает выть. Тихо, по-собачьи. Я стою и глажу ее по спине. Я чувствую каждый позвонок под тонкой курткой. Я теперь старшая. Я теперь сильная. Потому что я выжила в желтом доме. А она выжила в зоне.

Монолог социального работника Анны Сергеевны (на пенсии):

«Иногда я их вспоминаю. Петровых. Помню, как мы оформляли документы на лишение прав. Все было по закону. Экспертиза, решение суда. Мы же думали, что спасаем ребенка. Нам так объясняли на планерках. Говорили: “Там тоталитарный контроль, там подавление личности”. А потом, через пару лет, я встретила Настю в интернате. Я привезла подарки на Новый год. Она сидела в углу. Не играла, не бегала. Просто сидела и смотрела в стену. Я подошла, спросила: “Как ты, деточка?” Она подняла на меня глаза. И мне стало страшно. В этих глазах не было ничего. Ни обиды, ни злости. Пустота. Как в пустом доме, где выбили окна. Я тогда подумала: “Господи, что же мы наделали?” Мы забрали ее из “тоталитарной секты”, где ее любили, и поместили в систему, где она стала номером в списке. Мы разрушили ее мир, чтобы построить правильный. Но построили только руины. Я уволилась через месяц. Не смогла больше. Знаете, что самое страшное? Никто не виноват. Следователь делал работу. Судья делал работу. Врачи лечили по протоколу. Я писала акты. Все при деле. А человека нет. Человека стерли».

Мы сидим на кухне в съемной квартире на окраине. Квартира чужая, обои отклеиваются, кран капает. Но здесь тихо. Мама пьет чай. Она держит чашку двумя руками, словно греется.

— Папа писал, — говорит она тихо. — Ему еще два года.

Я встаю и подхожу к окну. За окном идёт снег. Такой же, как несколько лет назад. Я вспоминаю тот день. Штурм. Люди в масках. Тогда я думала, что это конец света. Армагеддон, о котором читал папа. Но Армагеддон оказался другим. Он был тихим, будничным, растянутым на годы. Он приходил в виде таблеток. В виде насмешек: «Сектантка!». В виде статей в газетах, где нас называли «биомусором».

Я смотрю на свои руки. На запястьях тонкие белые полосы. Память о тех ночах в интернате, когда боль душевная становилась невыносимой, и хотелось заглушить её болью физической. Врачи называли это «аутоагрессией». Я называла это попыткой почувствовать, что я ещё существую.

— Настя, — зовет мама. — А ты... ты помнишь молитву?

Я молчу. Помню ли я? Они вытравливали ее из меня химией. Они выбивали ее страхом. Они заменяли ее гимном и телевизором. Но есть вещи, которые нельзя вытравить. Они въедаются в подкорку, как родной язык.

— Помню, — говорю я.

Я сажусь рядом с ней. Мы просто сидим, прижавшись плечами.

— Отче наш... — начинает она. Голос дрожит, срывается. Я слушаю. Слова падают в тишину кухни, как капли дождя на сухую землю. И вдруг я чувствую. Там, внутри, в той самой замурованной комнате, где я похоронила свою птицу... что-то шевелится. Не птица. Птица умерла. Но, может быть, там осталось перо? Или эхо песни? Или просто тепло.

Я не начинаю верить заново. Вера это доверие. А доверие у меня вырезали скальпелем. Но я чувствую связь. Тонкую, невидимую нить, которая связывает меня с этой маленькой женщиной в сером свитере. С папой, который мерзнет в карцере за тысячи километров отсюда. С бабушкой, которая не дожила. С миллионами тех, кто носил лиловые треугольники.

Из записок историка, работающего над книгой “Репрессии XXI века”:

«Это не закончилось. Суды идут. Сроки растут. Списки “экстремистов” пополняются новыми фамилиями. Но есть один нюанс. Система рассчитывала на быстрый результат. Они думали: мы ударим, и они рассыплются. Они исчезнут. Но они не исчезли. Они ушли в подполье, как первые христиане в катакомбы. Они научились жить в страхе, не теряя достоинства. И самое главное — дети. Поколение детей, у которых отняли родителей. Система думала, что воспитает из них “патриотов” и “правильных граждан”. Но она воспитала свидетелей. Не в религиозном смысле. А в историческом. Эти дети выросли. Они видели изнанку “правосудия”. Они видели ложь взрослых. Они видели насилие под маской заботы. Их нельзя обмануть телевизором. Их нельзя купить лозунгами. У них иммунитет ко лжи. Настя Петрова и тысячи таких, как она, — это живое обвинение. Они молчат.

Они не ходят на митинги. Они просто живут. Но само их существование — это приговор системе, которая решила поиграть в Бога».

Вечер. Мы стелим постель. У нас один диван на двоих. Мама долго укладывает подушку. Она привыкла к нарам, ей мягко, неудобно. Мы ложимся. Темнота в комнате уже не пахнет казенным домом.

— Спи, доченька, — шепчет она. — Все позади.

Я знаю, что это неправда. Ничего не позади. Прошное — это не рюкзак, который можно снять и поставить в угол. Прошное — это моя кожа. Я никогда не забуду звук поворачивающегося ключа. Я никогда не забуду вкус галоперидола на языке. Я никогда не забуду глаза того “эксперта” в телевизоре, который назвал меня опухолью.

Но я также знаю другое. Они проиграли. Они забрали у нас все: дом, деньги, годы, здоровье. Но они не смогли забрать главное. Человечность.

Я не стала зверем. Я не стала овощем. Я не стала предателем. Я осталась Настей. Искалеченной, недоверчивой, молчаливой. Но Настей.

Я закрываю глаза.

— Мама, — шепчу я в темноту.

— Что, родная? — Я тебя люблю.

Эти слова звучат странно после стольких лет молчания. Они звучат как выстрел. Как победа. Мама плачет. Я чувствую, как ее слезы капают мне на плечо. Пусть плачет. Слезы вымывают яд.

За окном город спит. Город, который предал нас. Город, который забыл нас. Но мы простили этот город. Не потому, что мы слабые. А потому, что ненависть это слишком тяжелый груз. А нам и так тяжело идти.

Я засыпаю. И впервые за несколько лет мне не снится решетка. Мне снится птица. Она сидит на ветке. Она серая, невзрачная, с перебитым крылом. Она не может летать высоко. Но она жива. И она поет. Тихо-тихо. Едва слышно. Песню о том, что зима не вечна.

История не заканчивается. История продолжается в каждом вздохе, в каждом взгляде, в каждом ударе сердца тех, кто прошел через мясорубку и остался

человеком. Это не жалоба. Это просто голос. Один голос из миллионов. Мама, я здесь. Мир, я здесь. Бог, я здесь.

Смотрите на меня. И запоминайте.